

Владимир Тендряков

НЕ КО ДВОРУ



Забытая книга

Владимир Тендряков

Не ко двору

«ВЕЧЕ»

1954, 1972, 1979

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Тендряков В. Ф.

Не ко двору / В. Ф. Тендряков — «ВЕЧЕ», 1954, 1972,
1979 — (Забытая книга)

ISBN 978-5-4484-9095-8

Известный русский писатель Владимир Федорович Тендряков (1923—1984) — автор целого ряда остроконфликтных повестей о деревне, духовно-нравственных проблемах советского общества. Вот и герой одной из них — «Не ко двору» (экранизирована в 1955 году под названием «Чужая родня», режиссер Михаил Швейцер, в главных ролях — Николай Рыбников, Нона Мордюкова, Леонид Быков) — тракторист Федор не мог предположить до женитьбы на Стеше, как душно и тесно будет в пронафталиненном мирке ее родителей. Настоящий комсомолец, он искренне заботился о родном колхозе и не примирился с их затаенной ненавистью к коллективному хозяйству. Между молодыми возникали ссоры и наступил момент, когда жизнь стала невыносимой. Не получив у жены поддержки, Федор ушел из дома... В книгу также вошли повести «Шестьдесят свечей» о человеческой совести, неотделимой от сознания гражданского долга, и «Расплата» об отсутствии полноценной духовной основы в воспитании и образовании наших детей.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4484-9095-8

© Тендряков В. Ф., 1954, 1972, 1979
© ВЕЧЕ, 1954, 1972, 1979

Содержание

Не ко двору	7
Расплата	57
Часть первая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Владимир Тендряков
Не ко двору
Повести



**ЗАБЫТАЯ
КНИГА**

© Тендряков В.Ф., наследники, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *



Владимир Тендряков
(1923—1984)

Не ко двору

1

С неделю стояла оттепель. Но подул еле приметный ветерок – окаменели размякнувшие было сугробы, ночи вызвездились, снег под луной усеяли крупные искры, зеленые, как голодный блеск волчьих глаз.

В самую глухую пору, в два часа ночи, в селе ни души. Попрятались собаки, старик-сторож зашел домой почаявать и, верно, прикорнул, не раздеваясь, у печи. Сияют облитые луной снежные крыши, деревья стоят, как голубой дым, застывший на полпути к темному небу. Красиво, пусто, жутковато в селе.

Но в одном доме во всех окнах свет, качаются тени, приглушенные голоса доносятся сквозь двойные рамы.

Хлопнула дверь, по крыльцу, неловко нащупывая ногами ступеньки, спустился на утоптаный снег старик, качнувшись, схватился за столбик, постояв, запел скрипуче:

Когда б имел золотые горы...

Испугался тишины, замолчал и, покачиваясь, стал оглядываться на крыльцо. В сенцах со звоном упало порожнее ведро, распахнулась дверь, и на освещенный двор вывалились люди. Завизжал под валенками снег.

– Дед Игнат! Игнат! Эй!

– Не кричи, он тут. Вон стоит, ныряет.

– Тяжелу бражку Ивановна сварила.

– Ты и рад – набрался.

Хмельные голоса нарушили тишину, исчезла таинственность.

С крыльца, прижавшись друг к другу под одним полушубком, провожали гостей парень и девушка. Парень деловито наставлял:

– Старика-то домой доставьте. Как бы ненароком на улице спать не пристроился. Пусть бы у нас до утра оставался.

– Я... Ни в жизнь... Я сам-мос-тоятельный!..

– Ладно уж, ладно. Пошли, дед. Еще раз – ладу да миру вам в жизни! Дитя в люльку поскорее...

Звонкий скрип шагов смолк, где-то за домами вознесся снова было голос старика: «Когда б имел...» – и оборвался. Опять красиво, пусто, жутковато в селе.

– Все, Стеша... Значит, жить начинаем, – произнес парень.

Она плотнее прижалась под полушубком теплым, нетерпеливо и тревожно вздрагивающим телом.

Свадьба была немногочисленной и нешумливой, гости не засиделись до утра.

2

Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков имел легкий характер – любил позу-боскалить, любил сплясать, любил на досуге схватиться с кем-либо из ребят, дюжих трактористов, «за пояски». Высокий, гибкий, с курчавящимся белобрысым чубом, он был ловок и плясать, и бороться, и ухаживать за девушками.

В селе Хромцово, где работала его бригада, он в один вечер провожал учительницу Зою Александровну под сосновый бор к школе, в другой – сельсоветскую секретаршу Галину Злобину на край села, к дому, по крышу затянутому хмелем. Но что бы сказали обе, если б узнали, что в МТС недавно прибывшая из института агрономша каждый раз, как приезжает бригадир Соловейков, надевает глухое, до подбородка, платье и, встречаясь, словно невзначай, роняет:

– Федор, у вас талант. Пойдемте сегодня в Дом культуры на репетицию?

И у Федора в эту минуту в самом деле появлялась любовь к своему таланту, он шел на репетицию, отплясывал там «цыганочку», а если репетиции не случалось, охотно соглашался сходить в кино.

Но вот, как выразился шофер хромцовского колхоза Вася Любимов, по прозвищу Золота-дорога, Федор «сел всей рамой».

В Хромцове в начале зимы, по первому снегу, был свой праздник.

Назывался он по старинке «домолотками», праздновался по-новому: говорились торжественные речи, выступала самодеятельность, тут же в колхозном клубе раздвигали стулья, выставляли столы, разумеется, выпивали, а потом ночь напролет молодежь танцевала.

На эти танцы приходили парни и девушки километров за пятнадцать из сел и починок. Начиналось все чинно, кончалось шумно. Радиолу отодвигали, в угол садился Петя Рыжиков с баяном, и стекла звенели от местной «топотухи».

Федор плясал немного и всегда после того, как его хорошенько попросят, но уж зато старался, долго потом ходили о его пляске разговоры.

Из села Сухоблиново, что стоит за рекой Чухной и отходит к соседнему Кайгородищенскому району, пришел на танцы знакомый лишь одному шоферу Васе Золота-дорога тракторист Чижев. Пришел не один, привел девушку. В голубом шелковом платье, медлительная, белолицая, с высокой грудью, подбородок надменно вздернут – обидно было видеть ее рядом с большеголовым, скуластым и низкорослым Чижовым. Федор на этот раз долго не ломался, когда его просили выйти и сплясать. Где с присвистом, где с лихим перестуком, где вприпрыжку оторвал он «русского» и ударил перед гостьей в голубом платье. Та ленивенькой, плавной походкой, так что лежавшая вдоль спины коса не шелохнулась, прошла по кругу и снова встала около Чигова.

Начались танцы, и Федор пошел к ней.

Глаза у нее были выпуклые, голубые, ресницы длинные, щеки, еще на улице обожженные холодком, малиново горели румянцем. Федор все время отводил взгляд от белой нежной ямки под горлом в разрезе платья. Но пока он танцевал, как ни странно, все время где-то рядом держался легкий махорочный запах.

– У вас на Сухоблинове все кавалеры такие? – насмешливым шепотом спросил он, кивая на Чигова.

– Какие – такие?

– Да вроде бы неоткормленные. Может, промеж нас, хромцовских, кого повидней выберете?

Та в ответ улыбнулась одними глазами и сразу же спохватилась, строго смахнула улыбку ресницами.

– Разве вас, что ли?

– А разве не подхожу?

И все же после танца она не отошла к Чигову, осталась с Федором, как бы невзначай. Стояла она рядом спокойная, невозмутимая, видно, не сомневалась нисколько, что Федору приятно быть с ней. А ему и в самом деле было приятно, весь вечер не отходил от гостьи.

Чижев, забившись в угол, смотрел исподлобья, Федор не обращал на него никакого внимания и не смущался. Пусть себе смотрит – ее воля, она решит, она выберет.

...Бесшумно падал крупный снег, ложился на пуховый платок, на плечи Стешиной шубки. Федор прижимал к себе ее локоть. Путь был неблизкий, шли в ногу торопливым широким шагом, молчали. Она с достоинством умела молчать, и обычные шутки как-то не клеились у Федора, легкая непривычная робость охватила его... В пяти метрах ничего нельзя было разглядеть, лишь в черном воздухе – сплошной ленивый поток белых хлопьев. Из-за пушистого снега на дороге не слышно было даже своих шагов. И баянист Петя Рыжиков, освещенный неярко зал, шум, крики, смех – казалось, все это снилось, нет ничего, только они вдвоем живут на тихой, засыпанной снегом земле. И им не страшно, а приятно – вдвоем, не в одиночку, что еще надо?..

Федор проводил Стешу до села. Прощаясь, притянул ее к себе и поцеловал наудачу, пониже глаза в холодную щеку. В свежем, снежном воздухе снова на него пахло залежавшимся листом махорки, но и этот запах был приятен сейчас – обжитое, домашнее, крестьянское тепло напоминал он.

Галина Злобина и учительница Зоя Александровна помирились. Ссориться стало не из-за чего – как ту, так и другую перестал провожать по вечерам Федор. Он через день бегал теперь за двенадцать километров в Сухоблиново.

С Галиной, с Зоей, с агрономшей из МТС – все это шуточки, ненастоящее.

Хотелось сойтись с такой девчонкой, чтоб сердце болело, чтоб кровь сохла! А Стеша всегда встречала ровно – в мягких, теплых ладонях задерживала его руку, из-под полуопущенных век глядела ласково, словно бы говорила спокойно: «Никуда ты, милый, от меня не уйдешь. Тебе хорошо со мной, я это знаю, ну и мне хорошо, скрывать незачем...» Как-то даже пожаловался Федор дружку Васе Золота-дорога: «Хороша девка, да пресновата чуток, молчит все». Пожаловался, опомнился и с неделю в душе горел от стыда, клял себя, боялся, как бы ненароком эти слова не долетели до Стеши. И сердце особо вроде бы не болело, и кровь не сохла, а и дня не прожить без Стеши – трудно! Тянет к ней, к ее теплым рукам, к спокойным глазам. Через день бегал – двадцать четыре километра – туда и обратно.

Стеша жила на окраине села в пятистенке, раздавшемся в ширину, работала приемщицей на маслозаводе. Ее родители при первой встрече понравились Федору.

Отец, костлявый, крепкий старик со свислыми усами и большим хрящеватым носом, опустив заскорузлую от мозолей ладонь на стол, как-то раз заговорил:

– По старинке-то мне вроде бы не с лица начинать. Но нынче на то не смотрят. Слушай, парень... Ты частенько к нашей Степаниде заглядывал. Что ж, у нас со старухой возражений нету. Бога гневить нечего, мы, сравнить с остальными, в достатке живем. Видишь, дом у нас какой? Пустует наполовину. Переезжай к нам. Одним-то двором способнее жить.

Стеша сидела тут же, стыдливо и горячо краснела, молчала. Мать ее, старушка с мягким, полным лицом, с добрыми морщинками вокруг голубых, как у дочери, глаз, покачала ласково головой.

– Перебирайся-ко, перебирайся, так-то ладнее будет. Сыновьями Бог нас не наградил. Заместо сына нам будешь.

Федор на улице жаловался Стеше:

– Жалко мне колхоз и свою МТС бросать. Работал трактористом, теперь бригадиром, сжился я с ними.

– Мне-то с домом расставаться жальчее, – ответила Стеша. – И здесь тебе работа найдется. Не хватает трактористов, тем же бригадиром тебя поставят.

Федор жил, как и большинство ребят-трактористов его возраста. При ремонте снимал комнатку близ МТС, во время же полевых работ столовался и ночевал у дальнего родственника, хромцовского кузнеца Кузьмы Мохова.

Отец у Федора умер семь лет тому назад. Мать живет в глухой лесной деревушке Заосичье, километрах в сорока от Хромцова. Она хоть и стара, но ходит еще на колхозные работы:

то расстилает лен, то в сенокосную горячку загребаёт сено на ближайших лугах. Работает не от нужды – хорошо помогает старший сын, горный инженер из Воркуты, – просто скучно сидеть сложа руки, велико ли старушечье хозяйство – коза да полоска картошки.

Каждый месяц Федор, купив баранок, сахару, чаю, навещал мать. Он привозил ей дров, разделявал их, обкладывал избу высокими поленищами, подкашивал сена козе.

– Договорись-ко, родной, со своим начальством, – уговаривала его мать, – пусть в наш колхоз тебя переведут.

Но этого-то как раз и не хотелось самому Федору. Он тракторист, здесь поля лесные, тесные, машины обычно не столько работают, сколько простаивают, охота ли после хромцовских земель на таких задворках сидеть. Матери же отвечал просто: «Не отпускают». Объясни все – может и обидеться.

Теперь придется с насиженного места уходить. Не везти же Стешу в Заосичье к матери, если самому там жить не хочется. Не к Кузьме же Мохову?..

Можно бы и свой дом поставить, колхоз поможет, но это не сразу... Согласится ли Стеша год, а то и два по чужим углам скитаться?.. Федор решил переезжать.

Все знакомые ребята работали в мастерских на ремонте. Никто не приехал на приглашение Федора. Не приехала и мать. Хромцовский председатель обижался на Федора за то, что «ушел на чужую сторону», просить же в незнакомом колхозе лошадей Федору не хотелось, да и не дали бы – много лошадей работало на лесозаготовках, а ехать на попутных грузовиках по морозу шестидесятипятилетней старухе нечего было и думать. Через вторые руки получил от нее Федор банку меду, четверть браги да для невестки шелковую шаль, хранившуюся, верно, лет десять для подобного случая. По почте пришла письмо с родительской просьбой сразу же после свадьбы «сняться вместе с невестушкой на карточку и прислать домой»...

На свадьбе пили, ели, кричали «горько» несколько сухоблинецов, пожилых, степенных, сидевших с женами. Одиночкой держался лишь старик Игнат. Его жена, председатель здешнего колхоза, не пришла, хотя и была приглашена.

И стол был богат, и выпивка хороша, а шуму мало. Приходил народ, толкался в дверях, но не много и не долго. Дольше всех виснули ребятишки под окнами. Но и их позднее время да мороз заставили убраться домой.

Федор даже не сплясал на своей свадьбе.

3

Принято считать: семья начинается свадьбой и отметкой в загсе.

Прописались, отпраздновали, поцеловались под крики «горько» – и вот вам наутро новая семья в два человека.

Федор никогда бы не мог подумать раньше, что по-настоящему-то семья начинается с такой простой вещи, как уют. Ни о сундуках, ни о занавесках, ни о горшках для супа ни Федор, ни Стеша не только не говорили при встречах, а даже простое упоминание посчитали бы обидным для себя. Была она – будущая жена, был он – будущий муж, и больше ничего знать не хотели другого. Так чувствовали себя до свадьбы. Так чувствовали во время свадьбы. Утром, проснувшись после свадьбы, они еще продолжали жить этим чувством. Но надо было устроиться, и не на время, не на год, не на два – постоянно, навечно... Надо было начинать жить сообща! Молодым отвели половину избы.

В сенцах на то место, где когда-то, в незапамятные для Стеши и Федора доколхозные времена, висели хомуты, приспособили до лета на вбитых в стену колышках велосипед Федора. Его радиоприемник «Колхозник» поставили на стол.

Целых полдня Федор уминал на крыше снег, поднимал антенну.

В собственность Стеши перешел огромный сундук, потемневший, весь оплетенный полосами железа, с широкой, жадной скважиной для ключа, воистину дедовское хранилище хозяйского добра, основа дома в былые годы. Со ржавым, недовольным скрипом он распахнул перед молодой хозяйкой свои сокровища и сразу же заполнил комнату тяжелым запахом табака, овчин, залежавшегося пыльного сукна.

В сундуке на самом верху лежали модные туфли на высоких каблуках и то голубое шелковое платье, в котором Федор впервые встретил Стешу на празднике в Хромцове. Тот мажорочный запах, запах семейного сундука, принесла тогда Стеша на танцы вместе с нарядным платьем.

За модным платьем и модными туфлями были вынуты хромовые полусапожки, тоже модные, только мода на них отошла в деревне лет десять тому назад – каблучки невысокие, носок острый, голенища длинные на отворот. За сапожками появилась женская, весом в пуд, не меньше, шуба, крытая сукном, с полами колоколом, со складками без числа. В детстве Федор слышал – такие шубы прозывались «сорок мучеников». Платья с вышивками, платья без вышивок, сарафаны, полушубок дубленый, полушубок крытый – вместительны старинные деревенские сундуки! Из самого низу были подняты домотканые, яркие, в красную, желтую, синюю полосу, паневы.

Все это добро было развешано во дворе, и Стеша, в стареньком платьице, из которого выпирало ее молодое, упругое тело, придерживая одной рукой полушалок на плечах, с палкой в другой, азартно выбивала залежавшуюся пыль и табачный дух. Алевтина Ивановна, теща Федора, помогала ей.

– Не шибко, голубица, легчей. Сукнецо кабы не лопнуло, – наставляла она.

Старик-тесть вышел на крыльцо, долго стоял, покусывая кончики усов. Под сумрачными бровями маленькие выцветшие глаза его теплились удовольствием. А Федор удивлялся и наконец не выдержал.

– На что они нам? – указал он на цветистые паневы, разбросанные по изгороди. – С такой радугой по подолу в село не выйдешь – собаки сбесятся... Вы бы все это себе лучше взяли, продали при случае.

– Чем богаты, тем и рады. Другого добра не имеем. Ваше дело, хоть выбросьте. – У старика сердитые пятна выступили на острых скулах.

– Зачем же бросать? Можно и в район, в Дом культуры сдать, все польза – купчих играть в таких сарафанах.

– Ты, ласковый, не наживал это, чтоб раздаривать, – обидчиво заметила теща. – Паневки-то бабки моей, мне от матери отошли. Нынче такого рукоделья не найдешь. Польза?.. А кому польза-то?.. Купчих играть отдай! Ой, гляди, Стешка, как бы твой муженек с отдаванием этим по миру тебя не пустил.

– Да полно тебе, шутит он, – заступилась Стеша. – Места не пролежит, стодится еще.

Деловитая заботливость слышалась в ее голосе.

– Золото тебе жена попалась, золото. Хозяй-ствен-ен-ная! – пропела теща.

И в голосе тещи, и в морщинистом лице тестя Федор заметил легкую обиду.

Маленькое недовольство, неприметное, через минуту забудется, но все ж, видать, неприятность, и, должно быть, уже семейная.

К вечеру все было на своих местах. Свежо пахло от чисто вымытых Стешей полов. На столе простенькая белая скатерка. Есть и другая скатерть, с бахромой и цветами, но та, знал Федор, спрятана до праздника. На скатерти поблескивает желтым лаком приемник, на окнах тюлевые занавесочки, на подоконнике – горшок с недоростком-фикусом, принесенный из половины родителей. Угрюмый сундук покрыт веселым половичком. Лампа горит под самодельным бумажным колпаком – надо купить абажур, обязательно зеленый сверху, белый понизу... Когда Федор разделся и пригляделся ко всему, его охватила покойная радость. Вот

она и началась – семейная жизнь! Приемник, лампа, белая скатерть – пустяки, а что ни говори, без этого нельзя жить по-семейному. Не холостяцкое страдание, семья – свое гнездышко! На кровати, в одной ночной рубашке, распустив волнами по груди волосы, выставив полное белое плечо, сидела и, морщась, причесывалась Стеша.

Близкой, как и все кругом, какой-то уютной показалась она сейчас ему. Он подошел, обнял, но она, еще вчера вздрагивавшая от его прикосновения, сейчас спокойно отстранилась.

– Обожди... Уж не терпится. Гребень ломаешь.

И это Федора не обидело, не удивило: семья же, а в семье все привычно.

4

Молва о бригадире Соловейкове дошла до Кайгородищенской МТС. Сам директор решил свести Федора к тракторам. Ожидая у дверей, пока директор освободится, Федор слышал в кабинете разговор о себе.

– А как это он к нам надумал?

– Женился на сухоблиновской, к жене переехал.

– Ай, спасибо девке! Подарила нам работника.

Директор Анастас Павлович был осанистый, голос у него густой, начальственный, походка неторопливая, но держался он с Федором запросто. Сразу же стал звать ласково Федей, проходя по измятому гусеницами огромному энтээсовскому двору, разоткровенничался:

– Помнится, Федя, жил у нас в деревне, когда я еще мальчонкой был, один мужичок. Кукушонок – прозвище. У этого Кукушонка, бывало, спрашивали: «Почему, друг, лошадь у тебя откормленная, а сбруя веревочная? Не из самых бедных, справь, поднатужься». У него один ответ: «Живет и так. От ременной справы лошадь не потянет шибче». Вот и наша МТС пока что на Кукушонково хозяйство смахивает. Гляди, какие лошадки. – Директор провел рукой по выстроившимся в ряд гусеничным тракторам. – А справа к ним – Кукушонкова, тятляп понастроено: живет, мол, и так. Навесов поставить не можем, мастерские на живую нитку сколочены. Ты – комсомолец, парень не из пугливых, потому и говорю... По глазам вижу тебя. Был бы только народ настоящий, поживем – оперимся...

Кирпичный домик, смахивающий на сельскую кузницу, в распахнутых дверях которого, в темноте, вспыхивал зеленый огонь сварки. Тут же два других дома, длинных, безликих – конюшни не конюшни, сараи не сараи, – должно быть, мастерские. За ними бок о бок шеренгой самоходные комбайны, красные и голубые горделивые машины, выше колес занесенные снегом.

«Кукушонково хозяйство... Эх, так-то вот променял ты, Федор, сокола на кукушку. Не раз, видно, вспомнить придется свою МТС».

– Я, брат, сам новичок тут, – бодро продолжал директор. – Всего месяц назад принял... И вовсе никакой не было заботы о рабочих. А я так думаю: раз ты руководитель, то для специалистов хоть с себя рубашку последнюю не жалеи!.. Выручат.

«Да ладно уж, не умасливай, не сбегу», – невесело думал Федор.

– Вот и тракторы твои. Вот и твой тракторист. Чижов, это бригадир новый, прошу любить и жаловать. Соловейков – слышал, верно, такую фамилию? Ну, знакомьтесь, знакомьтесь, не буду мешать.

Директор ушел, крепко пожав Федору руку. Чижов сразу же отвернулся, заелозил ветoshью по капоту. Федор знал – Чижов, у которого он, считай, отбил Стешу, работает в этой МТС, но как-то и в голову не приходило раньше, что они могут встретиться, могут работать вместе. Просто перешагнул тогда через него и забыл.

– Эй, друг, знакомятся-то не задом...

– Чего тебе? – повернулся мрачно Чижов.

– Только и всего. Здравствуй, будем знакомы.

Чижов секунду-другую искоса глядел на протянутую руку, потом с неохотой, вяло пожал.

– Ну, здорово.

– Давай, друг, без «ну», я вежливость люблю.

– Так чего и разговариваешь с невежливым? – Чижов снова взялся за тряпку.

– Нужда заставляет. Работать-то вместе придется. Вот что, повернись-ка да доложи толком: как с ремонтом?

Чижов и повернулся и не повернулся, встал боком, уставился в сторону, в крыши мастерских.

– Знаем мы таких командиров, которые на готовенькое-то любят.

– На готовенькое? Значит, кончен ремонт? Выходит, ты у чужого трактора копаешься?

– Два трактора кончили. Вот этот остался. Всего и делов-то.

– Да, делов не много. Зима проходит, март на носу, два трактора отремонтировали, один не тронут. Могло быть и хуже.

– Знаем мы таких быстрых.

– Заправлен?

– Заправлен. В разборочную нужно.

– Так поехали, заводи.

Чижов промолчал.

– Иль завести не можешь? Дай-ка, попробую.

Федор осторожно плечом отстранил Чижова, положил ладонь на отполированную ручку и привычно, всем телом, налег. Мотор засопел, вразброд раз-другой фыркнул и смолк. Федор вопросительно уставился на Чижова.

– Понял, в чем загвоздка?

– Тебе видней, ты начальство.

– И это верно. Скинь капот.

Чижов нарочно как можно медленнее повиновался. Федор заглянул в мотор и присвистнул.

– Нет, брат! Я тракторист, а не трубочист. Прежде чем в разборочную вести, очисти, чтоб блестел мотор, как у старого деда лысина. Слышал?.. Я спрашиваю: слышал?

– Ну, слышал.

– Делай!

Федор сунул руки в карманы и, присвистывая небрежно: «Во саду ли, в огороде...», не оглядываясь, пошел прочь.

В МТС у него других дел не было, но Федор минут сорок добросовестно прошатался, заглянул в мастерские, в контору, полюбезничал там с секретарем-машинисткой Машенькой, девушкой с розовым крупным лицом, бусами на белой шее, с льняными кудряшками шестимесячной завивки.

Вернулся. Трактор стоял сиротливо, с задраным капотом. Мотор как был – грязный, ветошь брошена на закипевшие ржавчиной гусеницы.

Он нашел Чижова в мастерской, в темном закутке, у точильного станка, около печки-временки. Тот встретил исподлобья, нелюдимым взглядом. Федор молча присел, закурил не торопясь, произнес негромко и серьезно:

– Что ж, будем волками жить?

– Чего ты ко мне пристал? Чего тебе надо? Посидеть нельзя спокойно, и сюда приперся!

– Не шуми. Не день нам с тобой работать вместе, не неделю – все время. Хошь или нет, а старое забыть придется. Нячиться я с тобой не буду, это ты запомни. Не хвлясь скажу: не таких, как ты, выхаживал.

Сидели они рядышком, говорили негромко, мимо ходили люди, никто не обращал внимания. Со стороны казалось – с воли дружки пришли отдохнуть, перекурить да погреться.

– Нет тебе расчета на меня косо смотреть. Нет расчета...

– Не пугай, не боюсь.

– Я и не пугаю. Дотолковаться по-человечески с тобой хочу.

Из аккумуляторной, задевая лапами распахнутого пальто за станины, прошел директор, оглянувшись на присевших у огонька, улыбнулся, как старым знакомым.

– Греемся? Подружились уже?

– Водой не разольешь, – ответил Федор.

– Ну-ну, грейтесь, ребята, да за дело...

Директор ушел. Федор бросил окурок в печь и поднялся.

– Пошли.

Глядя в пол, Чижов встал.

5

На окраине села Кайгородище, рядом с усадьбой МТС, стояло здание бывшей школы. Оно было построено еще в годы, когда начинался поход за ликвидацию неграмотности в деревне. Тот, кто строил эту школу, считал, верно, что детям нужно больше солнца, больше воздуха, дети должны жить среди зелени. Окна в школе были огромные, потолки очень высокие, а сама школа стояла далеко за селом, среди поля. Но этот строитель не учел такой житейской мелочи, как печи. В классах с огромными окнами и высокими потолками были поставлены маленькие круглые печки с дверками, как кошачий лаз. Летом, при солнце, бьющем сквозь обширные окна, стояла жара, зимой – холод. Да и малышам было тяжело ходить за село по занесенному снегом полю. Учителя, работники РОНО кляли строителя до тех пор, пока в центре села не поставили двухэтажное здание десятилетки с обычными окнами, с обычными потолками, с хорошими печами. А старую школу передали МТС. Половину ее переоборудовали под квартиры директора и старшего механика, в другой половине устроили общежитие для трактористов.

С обеих сторон вдоль стен бывшего класса шли широкие, лоснящиеся от масла нары. На самой середине стояла бочка из-под горючего, превращенная в печку-временку. От нее вдоль потолка тянулась черная железная труба. На нарах лежали новенькие, всего несколько дней назад приобретенные матрасы.

Для подушек пока по приказу директора закупали перо.

Весь день Федор ни разу не вспомнил ни о Стеше, ни о доме. Но когда он, примостив под голову свой полушубок, лег, уставился на железную трубу, бросавшую при свете электрической лампочки ломаную тень на стены и потолок, то с тоской подумал, что сегодня только понедельник. Пять дней до воскресенья, пять дней не бывать дома, не видеть Стешу! За мокрыми стеклами широких окон стояла черная ночь. В одном углу пиликала гармошка. Гармонист разводит одно и то же: «Отвори да затвори...» У столика ужинают трактористы, разливая по кружкам кипяток из прокопченного чайника. А Стеша, верно, сидит сейчас на койке, морщась расчесывает густые волосы – одна в комнате... И пестрый половичок на сундуке, и стол под белой скатеркой, и приемник – вспомнился недорогой уют, свое гнездышко, освещенное пятнадцатилинейной лампой. «Абажур надо купить завтра, по магазинам поискать. Не поспку-питься, подороже который...» Но на следующий день он так и не сбегал в магазин, не купил. Пришли из деревень еще трое трактористов его бригады. Разобрали мотор, Федор присматривался к ребятам. Забыть про абажур не забыл, а все было некогда, все откладывал.

Чижов молчал, не поднимал глаз, но не перечил, слушался.

Трактор КД, или, как звали в обиходе, «кадушечка», был хоть и подзапущен, но новый, не проходивший по полям и года. Ремонт пустяковый: подчистить, отрегулировать, сменить вкладыши...

Угрюмость Чижова, кругом еще плохо знакомые люди, все одно к одному – домой бы! Успокоиться, а там можно обратно, не сиднем же сидеть подле жены...

– Товарищ Соловейков!

Пряча в беличий воротник подбородок, стояла за спиной Машенька-секретарша.

– Идите в контору.

– За вами, Машенька, хоть на край света.

– Пожалуйста, без шуточек. Вас жена ждет. – Машенька дернула плечом и отвернулась.

В новых валенках, в новом, необмятом полушубке, и пуховом платке, из-под которого выглядывал матово-белый нос и краешки румянца на щеках, сидела в конторе Стеша.

При людях они поздоровались сдержанно.

– У нас с маслозавода машина пришла, так я с ней... – Стеша боялась оглянуться по сторонам.

– С чем машина-то? – серьезно, словно это ему было очень важно знать, спросил Федор.

– Да ни с чем, пустая, тару нам привозила...

Они вышли из конторы, и Стеша тяжело привалилась к его плечу.

– Федюшка, скучно мне одной-то... Только ведь поженились, а ты сбежал. Работа-то тебе, видать, дороже жены.

– Сам воскресенья не дождусь. Ты хоть дома, а я на стороне...

– Отпроситься нельзя ли на недельку? Сорвался, поторопился, пожить бы надо.

Добротная, широкая, теплая какая-то, она глядела на него снизу вверх, и не было в ее взгляде прежней девичьей уверенности: «Никуда не уйдешь, тебе хорошо со мной...» Вот ушел, тревожится, может, даже думает: не загулял ли на стороне, характер соловейковский ненадежный. Обнять бы, прижаться, в ресницы пугливые расцеловать – нельзя, день на дворе, народ кругом.

«Верно, Стешка, верно. Рано сорвался, пожить бы надо!» Целый час они ходили по энт-эссовскому двору, говорили об абажуре на лампу, о том, что заболел подсвинок, плохо стал есть... Говорили о пустяках.

Вечером Федор сидел в кабинете директора и доказывал, что надо съездить на недельку домой.

– Молодая ждет? – понимающе подмигнул директор.

– Молодая – не молодая, а ремонт-то кончаем, делать мне здесь вроде и нечего.

– Метил я тебя надшибановской бригадой шефом поставить. Ты ведь почти на готовенькое пришел. Тракторы в твоей бригаде новые.

– Анастас Павлович!..

– Да уж ладно, знаю. Поедешь домой, только не на отдых. Ты знаком с сухоблиновским председателем?

– С теткой Варварой? Слышал много раз про нее, но не встречался пока.

– Человек честный, но старого колхозного уклада. Ты думаешь, старое – только то, что до коллективизации было? То уж быльем поросло. Есть колхозный старый уклад. Председатель, что без машин, без тракторов жизни себе не представляет, тот – нового уклада. А кто на своих лошадок больше надеется, нам кланяться не любит, натуроплаты больше сатаны боится: мы, мол, сами как-нибудь, – это, помни, корешок со старым запахом. Он еще живет где-то около тридцатых годов, когда в колхозах не густо машин было. Тетка Варвара из таких. Залежи навоза у нее, а норовит вывезти на лошадах. Поедешь к ней, вывезешь навоз... Но покуда свой ремонт не кончишь, не отпущу! Уж серчай – не серчай, я, брат, тоже человек с характером.

Все спали в общежитии. За столом лишь сидел и ужинал Чижов, макал крутым яйцом в соль на бумажке.

Федор выложил привезенную женой снедь: ватрушки, пряженики в масле, пироги с яйцами.

– Кипяток-то остыл? – спросил он.

– Остыл.

– Плохо... А ты, друг, можешь к моим харчам пристроиться, лично я не возражаю. Может, только тебя от моих пирогов стошнит, тогда уж, конечно, поостерегись.

– Да нет, спасибо.

– Брось-ко дуться-то. Пробуй, пробуй, не заставляй кланяться. Где ж так долго загулял? Чижов покраснел.

– Да в кино ходил, на «Подвиг разведчика».

– Один?

– Да н-нет... с ребятами...

Федор не стал его расспрашивать. А ходил тот в кино с секретаршей Машенькой, и та целый вечер толковала ему – какой нехороший его бригадир Федор Соловейков.

В этот вечер спать Федор с Чижовым устроились рядом.

6

Вместе с тестем они попарились в бане, после чего хлебнули бражки.

Сейчас Федор лежит на кровати и читает.

Свежее белье обнимает остывшее тело. Едва-едва слышно шипит фитиль у изголовья. Наволочка на мягкой подушке холодит шею. Она настолько чиста, что кажется, даже пахнет снежком. Хорошо дома! Федор читает, а сам, настороженно отвернув от подушки ухо, прислушивается – не стукнет ли дверь, не войдет ли Стеша: «Ну-ка, вставай, поужинаем. Ишь прилип, не оторвешь...» Она вроде недовольна, голос ее чуточку ворчлив... А как же без этого – жена! Нет, не слышно, не идет. Он снова принимается за книгу.

Когда Федора спрашивали: «Что больше любишь читать?» – он отвечал: «Толстого Льва, Чехова...» Или завернет: «Гюстава Флобера» – вот, мол, с каким знакомы, хвати-ко нас голыми руками! Но кривил душой, больше любил читать Жюль Верна или Дюма.

Шипит фитиль лампы. Под стекло подплывают акулы, заглядывают внутрь лодки, медузы качаются в зеленоватой воде... Стеша сейчас на кухне, войдет – только что от печи, все лицо в румянце, если прижаться – кожа горячая...

Что-то долго она там? Хорошо дома! Хорошо даже то, что приходится уезжать, жить в МТС, ночевать на нарах... Каждый день здесь – мягкие подушки, скатерки, теплая постель – пригляделось бы все, скучновато бы показалось, поди б и жена не радовала. А как побегаешь по мастерским, с недельку поворочаешься на эмтээсовском тюфяке, повспоминаешь Стешу с румянцем после печного жара... тут уж простая наволочка на подушке, и от той счастливый озноб по всему телу, все радуется, в каждой складочке половика твое счастье проглядывает. Хорошо дома! Федор уронил на грудь книгу, улыбнулся в потолок...

Мягко ступая чесаночками, вошла Стеша.

– Ну-ка, вставай, поужинаем...

Федор не ответил. Жестковатые кудри упали на лоб, на обмякшем лице задержалась легкая, неясная улыбка. Он спал.

7

Дорожка от калитки к крыльцу расчищена от снега, у колодца срублен лед.

Тесть, Силантий Петрович, с топором в руках стоит посреди двора и внимательно изпод лохматой шапки разглядывает поперечину над воротами. У ног его лежит сосновое бревнышко.

Утро только началось, а уж он разбросал снег, подчистил у колодца, сейчас целится поставить вместо осевшей новую поперечину на ворота. Федору немного совестно – он-то спал, а старик работал – неумная душа, хозяин.

Приходилось уже замечать: идет тесть от соседей, несет спрятанную в рукав стертую подкову. Он ее нашел на дороге и не оставил, поднял, принес домой. В сенцах, в углу, стоит длинный, как ларь, дощатый ящик. Весь он разгорожен внутри перегородками на отделения – одни широкие, вместительные, другие узкие, глубокие, рукавицей можно заткнуть. В одно из этих отделений и попадет старая подкова. Она, может, и не пригодится при жизни старика, а может, кто знает, и в ней случится нужда. Пусть лежит, места не пролежит.

Федор знал – стоит только попросить: «Отец, свинья переборку раскачала, скобу надо вбить...» или: «Гвоздочек бы, Стеша под зеркало карточки прибить хочет...» – и тяжелая скоба, и крохотные, еле пальцами удержишь, гвоздики сразу же появятся из ящика Силантия Петровича.

Старик легко поднял за один конец бревнышко и скупыми, расчетливыми ударами начал отесывать его топором. Федор задержался на крыльце, невольно залюбовался: «На весу ведь. У меня силенки побольше, а не сумею...» С мягким, вкусным стуком врезался топор в дерево, за ним слышался легкий треск, и на белый снег падали желтые, как масло, щепки.

– Может, помочь, отец? – спросил Федор. Силантий Петрович отбросил кряж, сдвинул с потного лба шапку.

– Нет, парень, справлюсь. На полчасика и работы-то. Иди по своим делам.

Высокий, плечистый, стать, как у молодого, движения сдержанны и скупы.

«Трудовой мужик, – уходя, думал про него Федор, – да и вся-то у них семья работающая. Смотри, Федор, не покажись среди них увальнем».

В конторе правления председателя не оказалось, Федор пошел искать по колхозу.

«Незавидно живут, далеко им до хромцовских». Около скотного, в каких-нибудь шагах двадцати от дверей, лежит, прикрытая снегом, гора навозу.

«Неужели и летом сюда навоз скидывают? Смрад, вонючие лужи, тучи мух... Хозяева!»

Тут же рядом с навозным бунтом разгружали воз сена. Работали женщины.

Одна, невысокая, без рукавиц, с красными на морозе руками, стояла на возу, деревянными вилами охапку за охапкой пропихивала сено в чердачное окно.

– Вот так! Вот так-то, без ленцы! – покрикивала она, а две другие топтались около воза.

– Труд на пользу! – весело поздоровался Федор. – Не видали Варвару Степановну?

Подавальщица на возу остановилась.

– А тебе на что ее? – сипловатым голосом спросила она.

– Дело есть.

– Ну-ка, Прасковья, возьми вилы.

Придерживая подол, она неуклюже сползла с воза. Страхнула с плеч сенную труху, повернулась к Федору, с валенок до шапки оглядела его. При взгляде на нее вблизи против воли готово было сорваться одно слово: «Крупна!» Роста маленького, чуть ли не по плечо Федору, а лицо широкое, грубое, мужичье. Тяжеловатость и крупноту черт еще более выделяли мелкие серые глазки. Взгляд их тверд и насторожен. Крупны у нее и руки, размашиста и в плечах: из тех – неладно скроена, да крепко сшита.

– Я Варвара Степановна. Выкладывай дело. – И усмехнулась, заметив заминку Федора. – Аль не похожа?

В Хромцове председатель Пал Поликарпыч был седенький, щуплый и очень вежливый. Даже сама походочка у него вежливая – аккуратно, цапелькой выступает высокими сапожками,

голос тихий, ко всем одинаковое обращение: «Дитя ты мое милое...» Но уж коль скажет, то это «дитя», какой-нибудь дремучий бородач, годами, случается, и старше Пал Поликарпыча, сразу краснеет или от радости за похвалу, или от стыда за упрек. Где уж там похожа – этот лесовик в юбке! Но Федора было не учить за словом в карман лазить.

– На себя-то, что ли? – ответил он. – Я негордый и на слово поверю – похожа.

– Э-э, да ты веселый! Откуда такой молодец? Молодые-то парни нашего колхозу сторо-
нятся.

– Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков.

– Зять Силана Ряшкина, что ли?

– Он самый.

Еще раз пристальнее, как будто недружелюбно, оглядела Варвара Степановна Федора.

– Ловкий они народ, сумели такого молодца залучить! Да и то: Стешка – девка видная, гладкая, на медовых пышках выкормленная. Чай, доволен женой-то?

– Да покуда нужды не имею на другую менять.

– Ну и добро. Выкладывай, что за дело.

– Навоз-то лежит, – кивнул Федор на навозную гору.

– Вывезем.

– Без нас! По договору-то мы вам обязаны сто тонн вывезти. Договор скромный, можем и перевыполнить.

– Ишь удалец! Нет, уж лучше не перевыполняйте. Сами как-нибудь. Вывезете кучку, а напишете «воз». Кто будет навоз вывешивать да проверять! Потом за ваши тонна-километры расплачивайся из колхозного кармана.

– Варвара Степановна, есть председатели колхозов старого уклада, есть нового... – Федор отбросил шуточный тон, заговорил деловито, наставительно.

Председатель слушала его молча, глядела невесело в сторону.

– С вашей МТС постареешь. Ладно, действуйте... Но смотри у меня! За каждым возом сама буду доглядывать. Чтоб накладывали как следует.

– Вот это разговор! На какие поля возить, я уже знаю от участкового агронома. Мне б сейчас лошадку какую-нибудь, проехать, дороги обсмотреть.

– Иди к конюшне, скажи, что я Василька нарядить разрешила.

В сторожке у конюшни чадила потрескавшаяся печка. Какой-то ездовой и Силантий Петрович, оба разомлевшие в своих бараньих полушубках, добавляли к печному чаду махорочный дым. Пахло распаренной хвоей. Дома суровый, внушительный, Силантий Петрович здесь скромненько пристроился на краешке скамьи, лицо скучноватое, неприметное.

– Как бы Василька получить? Варвара разрешила, – спросил Федор.

– Пойди да возьми. Седло-то, должно быть, здесь, под лавкой. Тут вся справа, – ответил
тесть.

Федор нагнулся: оброти, чересседельники, веревочные вожжи – все, перепутанное, цепляющееся одно за другое, потянулось из-под лавки.

– Ну и базар! У нас в селе дед Гордей разным ржавым хламом торгует, у него и то порядка больше. Перекинули бы здесь вдоль стены жердь и развесили.

– Не наказано нам, – спокойно произнес Силантий Петрович.

– Уж так и не наказано... А чего наказов ждать! Жерди на дворе лежат. Стрижена девка косы заплести не успеет. Я вроде посторонний, да и то мигом сколочу.

– Ну-ну, засовестил! Выискался начальник.

Ездовой, с любопытством приглядывавшийся к Федору, поднялся.

– Верно, пока не ткнут да не поклонятся, зад не оторвем... Дай-ко, Силан, твой топор, пойду приспособлю, что ли...

– У меня свои руки есть. Без тебя обойдется.

Силантий Петрович сердито встал, а через минуту, впустив в раскрытую дверь морозный пар, внес холодную, скользкую от тонкого слоя льда жердь.

– Ты, Федька, не учи меня – молод! Ишь распорядитель какой! – говорил он, в сердцах остукивая пристывший к жерди снег.

Выезжая за село на низкорослом, лохматом, как осенний медвежонок, Васильке, Федор недоумевал про себя: «Ведь он куда как ретив на хозяйство, дома-то ни минуты не посидит... А тут раскуривает, спокойнешенек...» Вернулся с полей затемно. Поставил лошадь, соломенным жгутом обтер спину и пахи, с пахнущим конским потом седлом на плече двинулся к выходу.

Голос тестя, доносившийся с воли через приоткрытые двери, заставил остановиться Федора:

– Нет, ты уж хоть десяток соток, да запиши. Что я, задарма вам старался? Бог знает что творилось в сторожке – вся снасть под ногами путалась. Теперь – как в магазине: приходи – выбирай.

Невеселый басовитый голос совестил Силантия Петровича:

– На два гвоздя жердь прибил и выпрашиваешь...

– Не выпрашиваю, ты мне отметь мою работу, положено! Никто рук не приложил, а тут вместо благодарности оговаривают.

– Уж лучше бы не делал.

Федору стало неловко: а вдруг тесть заметит, что он тут стоит, подслушивает? Осторожно вышел в другие двери, обогнул разговаривавших.

Но Силантий Петрович и не собирался скрывать свой разговор. Дома, вечером, сердито расстегивая крючки полушубка, он заговорил:

– Вот, Федька, больно старателен-то, не жди, премию не выпишут. Они глядят, чтоб на дармовинку кто сделал.

Алевтина Ивановна, выносившая пойло корове, задержалась посреди избы с ведром.

– Чтой опять стряслось? – спросила она.

– Да ничего. Старая песня. Снова охулки вместо благодарности. Руки приложил, а записать на трудодень отказались.

– И не прикладывал бы.

– Все помочь хочется, совесть не терпит.

– Не терпит... Совестьлив больно. Варвара небось с совестью-то не считается. Как она тебя поносила, вспомни-ка, когда ты сани с подсанниками делать отказался?

– Всегда в нашем колхозе так: сделай – себя обворуешь, не сделай – нехорош.

– Уж вестимо.

По угрюмому лицу тестя Федор чувствовал, что тот недоволен им. Было стыдно за этого серьезного, рассудительного человека: «Из-за грошового дела в обиду лезет!» Федор тайком посматривал на Стешу: должно, и ей стыдно за отца? Но та, словно и не слышала этого разговора, как ни в чем не бывало застилала рыжей скатеркой стол, собирала ужинать. Она, уже заметил Федор, никогда не спорила с родителями – послушная дочь.

Он ушел на свою половину и до позднего вечера сидел у приемника, слушал передачу из московского театра. Мягкая поступь Стеши за его спиной успокаивала: «С нею жить... Пусть себе ворчат – старики, что и спрашивать...»

8

Все пригляделось, все стало привычным.

Своими стали тесные, неуютные мастерские Кайгородищенской МТС. Своим – другом и приятелем – стал Чижов.

Привык и к сухоблиновскому председателю, тетке Варваре. Сперва удивлялся: строга, народ ее уважает и побаивается, а в колхозе на каждом шагу непорядок. Если бы не он, Федор, с его тракторами – лежать бы навозу кучами около скотного и до сих пор. Сперва удивлялся, потом понял: Степановна строга, ее побаиваются, а бригадиров не слушают, нету у председателя хороших помощников, всюду сама старается поспеть, своим глазом доглядеть, все своими руками готова сделать, да глаз всего пара и рук не тысяча.

Привык Федор даже к тому, что дома постоянно приходилось слышать обиды: «Охулки вечные... С нашей-то совестливостью...» Привык, старался не обращать внимания: «Старики, что с них спрашивать...» Силантия Петровича в деревне недолюбливали, звали за глаза Бородавкой.

Все пригляделось, ко всему привык и только к одному не мог привыкнуть.

Как в первые дни, так и теперь, возвращаясь из МТС домой, он по-прежнему радовался покойной тишине, чистым наволочкам после бани, румяным щекам оторвавшейся от печки Стеши.

А Стеша что ни день, то красивее – какое-то завидное дородство появилось в ее фигуре, в ее движениях (сразу видно: не девка – жена). Повернет Стеша голову, на крепкой шее выются темные кудряшки, через высокую грудь спадает коса. «Федя, дров принеси...» – «Ах ты, лебедушка!» – даже не сразу сорвется Федор с места.

Разве можно привыкнуть к этому? Счастье не надоедает, к нему не привыкнешь. Потому-то, может, и прощал Федор старикам их воркотню. Со Стешей жить, не со стариками.

Сама Стеша никогда не ворчала, да и ворчать ей было не о чем. Как бы там ни было, а старики все ж работали в колхозе. Стеше же он – сторона. За селом стоит старый дом с навесом и коновязью перед окнами. Это маслобойка; за неимением других на селе предприятий ее зовут громко – маслозавод.

Каждое утро позднее Федора Стеша уходила туда, не по разу на день забежала домой, а вечером уже она встречала Федора заботливыми хлопотами по хозяйству – бегала из погребца в сенцы, замешивала пойло корове. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила, редко когда перед сном, позевывая, вспоминала: «Сегодня из Лубков с молоком приезжали, воротить пришлось... Холода-то какие, а проквасили, летом-то что будет?» Федор временами забывал, что она работает.

Так дожили до полной весны.

Серьезный, не падкий до шуток и пустяковых дел, Силантий Петрович в один солнечный день подставил к старой березе лестницу, кряхтя, взобрался по ней и снял скворечник; сосредоточенно покусывая кончик усов, по-хозяйски оглядел его. Скворечник – не детская забава, частица хозяйства. Двор без скворечника – все одно что колхозная контора без вывески: знать, некрасно живут, коль вывеску огоревать не могут. Ежели и скворечник исправен – считай, все, до последнего гвоздя, исправно в хозяйстве. Силантий Петрович с самым серьезным видом стал ремонтировать покоробившийся от непогоды птичий домик.

А у колхоза с весной новая беда.

Тетка Варвара зазвала в контору Федора, села напротив, подперев щеку тяжелым кулаком, пригорюнилась по-бабьи.

– Выручил ты нас, Феденька, однова, свозил навоз, честно работал, не придерешься, выручи и в другой раз. Прошлый-то год, сам знаешь, какова осень была, не за тридевять земель жил... При дожде убирались. Зерно сушили – вода ручьями текла. Такое и на семена засыпали.

– Всю-то зимушку нас этот госсорт, чтоб им лихо было, за нос водил, всю зимушку гадали над нашим зерном бумажные душонки – то ли можно сеять, то ли нет... Сказали б загодя – нет, а то теперь выезжать пора, а они – всхожесть низка, не разрешаем! Да провалиться им!.. Семена-то есть, выделил нам райисполком, хорошие семена, так их достать надобно со стан-

ции. Выручи, Феденька, оговори у начальства разрешение один трактор послать на станцию. Два выезда сделаете – и спасете колхоз.

Федор слушал и прикидывал про себя: до станции более сорока километров, дороги размыло, с порожними, из цельных бревен вырубленными санями и то трудно пробираться трактору, а тут с грузом... Да и горючего уйдет уйма.

– Нет, Степановна, не помогу, – сказал он. – Да ты подумай – сама не согласишься. На такие дороги малосильную «кадушечку» не пошлешь, не вытянет воз «кадушка» по таким дорогам.

– Ну а этого, большого?.. Пятьдесят же сил в нем, звере, черта своротит.

– Дизелем рисковать не буду. Ни ты, ни я не поручимся, что в такое непроезжее время он где-нибудь посередине дороги не сломается. Он у нас один, ему не сегодня завтра на клеверища выходить. И семена будут, а все одно сорвем сев. Ненадежный выход, Степановна.

– Как же быть, ума не приложу?

– Всех лошадей бросай на вывозку! Всех до единой!

Тетка Варвара и с надеждой, и с недоверием долго разглядывала Федора.

– Всех лошадей... Выход-то немудреный. Я и сама о нем думала. Всех?.. То-то и оно, побаиваюсь всех-то... Замучаем их, а – по прошлому году сужу – на ваше тракторное племя с головой положиться нельзя. Не тебе в обиду будь сказано... День работали, два дня в борозде стояли трактора-то. Трактористы от села к МТС мыкались, запасные части искали. Лошадки-то меня всегда выручали. С открытым сердцем тебе говорю, Федор, – боязнь берет без лошадей в сев остаться.

– Тетка Варвара, плохо ты знаешь бригадира Соловейкова! Иль, может, клятву особую тебе дать? Будут работать тракторы, ручаюсь! Бросай лошадей на семена! Управимся без них на полях! Десять лет я при тракторах, без малого полжизни! Мне слово тракториста дорого.

– Ой ли?

Но по тому, как это «ой ли» было сказано, Федор понял: согласилась Степановна, не то чтоб совсем поверила, – согласилась, другого не придумаешь.

9

Исчезла под стеной сарая лиловая туша ноздреватого сугроба. Потом под окнами, меж черных грядок, сник ручей, оставил после себя след – желтую дорожку намытого песка. Скоро и сами грядки начали терять свою мокрую черноту, комья земли стали сереть, как остывающие уголья, подергивающиеся тонким слоем пепла. Подсыхала земля.

Федор послал дизель пахать клеверища и сам пропадал около него с раннего утра и до позднего вечера.

Приходил домой грязный, уставший, веселый.

– Лебедушка моя, есть хочу, ноженьки не держат. – И, стараясь походя щипнуть Стешу, на весь дом довольно хохотал, когда в ответ получал тумака.

Однажды вечером, когда Федор навалился на полуостывшие щи, Стеша присела напротив, поставила на краешек стола белые локотки и, склонив голову, с довольной и в то же время осуждающей улыбкой: «Эк ведь торопится, словно кто нахлестывает» – разглядывала мужа.

– Да, совсем было запамятовала... Долго ль ждать будем? Пора усадьбу пахать. Колхозное-то небось начали, а свое лежит нетронутым. Отец просил: сходи к Варваре, попроси лошадь, тебе она не откажет, с тобой ей не с руки не ладить.

– Нельзя, Стеша. Правление постановило: пока семена все не вывезут, никому лошадей не давать. У Варвары-то, чай, своя усадьба, не берет же она себе лошадь. Нам тут, Стешенька, не след поперед других вылезать.

– Так что ж, не пахать?

– Надо что-то придумать, Стеша. Лопатами, что ли, пока взяться? Туго колхозу-то нынче, семена на станции, а весна не ждет.

– Никакой у тебя заботушки! Не холостяшка, кажись, в семье живешь, пора бы иметь заботу-то. Лопатами... Ты, что ль, лопатой эти двадцать пять соток поднимешь? Ты-то утром добро ежели завтрака дождешься, а то кусок в карман, да и был таков... Может, мне? Может, мать заставить?.. Отцу-то шесть десятков, надорвется!

– Обожди, Стеша. Вот вывезут...

– Жди, когда они вывезут! Колхозное-то засеют, а от своего хоть отвернись!

– Стеша! Я лошадь просить не пойду. Обижайся, не обижайся – не пойду! Совести не хватит!

И получилось резковато. Полные губы Стеши растянулись, задрожали в уголках, в тени под ресницами, почувствовал Федор, стали накапливать слезы. Она поднялась.

– Совесть свою бережешь? За стол-то лезешь! Тут-то хватает совести! – Ушла, хлопнув дверью.

Федор сидел, продолжал хлебать сразу показавшиеся пресными щи и успокаивал себя: «Бывает... Утрясется... Дело-то домашнее, – глядишь – через час вернется, поладим».

Сел, как бывало в неловкие минуты, к приемнику, поймал Москву. Там пели:

За твои за глазки голубые
Всю вселенную отдам...

Стало не по себе, выключил, походил около двери, но войти не решился.

Там тесть сидит, – верно, подметку на старые сапоги набивает или к чайнику отвалившийся нос припаивает, молчит угрюмо. Теща, поджав губы, вздыхает: «На премию целится молодец...» Туда сейчас нельзя, там как на врага взглянут.

«Стеша, наверное, плачет... И чего сорвалась? Договорились бы... Беда какая! Да черт с ней, с усадьбой, и без нее голодными не остались бы!..»

Скинув сапоги, лег лицом в подушку, ждал, ждал Стешу. Но та не приходила, не шел и сон.

Встал. Походил по комнате нарочно шумно, чтоб слышали на той половине, двигая стульями. Вспомнил, что днем, помогая ребятам устанавливать плуг, как-то зацепил рукавом, порвал. Решил залатать. Пусть Стеша приходит. Он будет сидеть, шить и молчать: любуйся, мол, какой у тебя догляд за мужем, не совестно?..

Разыскивая в коробке из-под печенья нитки, он наткнулся на комсомольский билет.

На собраниях Стешу не встречал, знакомился – полной анкеты не требовал.

Потом как-то привык – она работает, на работу не жалуется, и в голову не приходило поинтересоваться, комсомолка или нет.

С виду новенькому, не мятому, не затертому билету было четыре года. На карточке Стеша почти девочка, лицо простоватое, брови напряженно подняты; теперь куда красивее она выглядит. Членские взносы заплачены только за три месяца. Давно выбыла, четыре года билет валяется.

Держа в руках этот билет, Федор задумался: «Жена, ближе-то и нету человека, три месяца с ней живу, а ведь не только это, многого еще, пожалуй, не знаю про нее... Верно говорят: Чужая душа – потемки».

Стеша так и не пришла, ночевала у родителей.

И работу-то она нашла тихую, непыльную, лишь бы в колхозе не сидеть...

И комсомольский билет забросила, сунула вместе с нитками, забыла, и горя мало...

Но ведь все ж она душевный человек, мало ль промеж них пережитого, плохим словом о прошлом не обмолвишься, просто крест на ней не поставишь...

Шесть лет работает Федор бригадиром трактористов, а трактористы в деревне – особая статья. Этот народ цену себе знает, любит независимость. Со всякими ребятами приходилось сталкиваться. Случалось, подносили под нос пропахший керосином кулак: «Не командуй, Федька!.. Сами с усами». Но и таких Федор обламывал. По начальству не ходил, не плакал в жилетку: сил-де нет, управы не найду. Шелковыми становились ребята, умел договориться. Девчата под его началом работали... Ну, с девчатами – легче легкого. Слово за слово, коль смазлива, то, глядишь, и за подбородочек можно взять – сразу растает.

Стеша тоже человек. Договориться нельзя, что ли? Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за лошади. Да Стеша и сама откажется, только подойти надо умеючи. «Ай, Федор! Что ж тут казнить-то? Со своей женой да не столковаться – смех!»

Федор с трудом дождался обеденной поры. Стешу он застал дома, и она встретила его, на удивление, мирно.

– Вернулся, поперечный? А я уж думала, и к ночи не придешь. Наказание ты мое! Ладно, садись обедать.

С самого утра Федор готовился к разговору, сам про себя спорил, придумывал ответы, упреки, шутки. И на вот – все ни к чему. Стеша не держит на сердце обиды. Федор даже немного растерялся.

– Так ведь, Стеша, сама посуди... Чего просила... Разве можно... Не время теперь...

– Это ты о чем? О лошади?... Так об этом и говорить нечего. Ты не захотел – отец достал. Он уже пашет. Мимо шел, не заглянул небось, не поинтересовался.

– Как достали? Откуда?

– Откуда, откуда... Да все оттуда же. Пошли к Варваре и попросили. Это ты гордец выискался – совести не хватит!.. Садись уж за стол. Сегодня суп с курятиной, солонина-то, чай, опостылела.

Она, как всегда, спокойна и деловита. Мягкой поступью ходит вокруг стола, осторожно, чтоб не испачкать белой кофточкой, в которой она сидит на работе, подхватывает тряпками тяжелые чугуны, легко их переставляет. С ней да ругаться, про нее да плохо думать, кто же не без греха? И все же во время обеда Федор молчал, не переставал думать: «Как это Варвара решилась? Нет же лишних лошадей. Ни Силантия Петровича, ни Алевтину Ивановну она вроде особо не жалует. Что-то не то...» После обеда он нарочно завернул за угол, полюбовался: Стеша не шутила – по черной, взрыхленной земле прыгали галки, тесь, сутулясь, неровными оступающими шажочками шел за плугом.

У Федора беспокойно стало на душе.

Тетка Варвара хмуро отвела от него взгляд.

– Ты лошадь просил, – сказала она, не обращая внимания на произнесенное Федором: «Здравствуй, Степановна». – Так я дала ее.

– Я?... Лошадь?..

– Иль не просил, скажешь? Силан утром целый час подле меня сидел, попрекал, что относимся к людям плохо, что ты, мол, ради колхоза покой потерял, а я уважить тебя не могу. Так и сказал: «Федор просит уважить...» Еще пристрадал: «Кобыленку жалеешь – как бы дороже не обошлось». Я Настасье Пестуновой отказала, у нее пятеро – мал мала меньше, сама хвора, мужа нет... А тебя уважила. Приходится... Оно верно – план-то сева дороже заезженной кобыленки.

– Не просил я лошадь, тетка Варвара!

Но тетка Варвара всем телом повернулась к бухгалтеру:

– Так ты куда ж, красавец писанный, этот остаток заприходовал?

– Тетка Варвара! Слышь!.. Нечего мне затылок показывать, выслушать надо!

– А ты не кричи на меня. На свою родню иди крикни, ежели они тебя обидели.

Как ошпаренный, выскочил Федор из конторы, широким шагом зашагал к дому.

Он подождал, пока большеголовая, кланявшаяся мордой на каждом шагу лошадь добралась до обочины, взял ее за поводок.

– Стой, батя.

– Чего тебе? – Выцветшая, с черным околышем военная фуражка была велика тестю, треснувший матовый козырек напалз на хрящеватый нос.

– Выпрягай.

И, не дожидаясь помощи, Федор сам отцепил гужи. Лошадь дернулась и остановилась, вожжи были привязаны к ручке плуга.

– Отвязывай!

– Так, сынок, так... Ой, спасибо... Забываешь, видно, под чьей крышей живешь, чьи щи хлебаешь... А вожжи ты оставь. Вожжи мои, не колхозные.

Федор отцепил вожжи, побросал концы на землю.

– Позорить себя не дам! – крикнул он, уводя лошадь. – И щами меня не попрекай! Себе и жене на щи заработаю!

Он отвел в конюшню лошадь и ушел в поле, к тракторам, до позднего вечера.

11

Стемнело.

Наигрывая только здесь, по деревням, еще не забытый «Синий платочек», уходила из села гармошка. За пять километров отсюда, в деревне Соболевка, сегодня свадьба. Какой-то незнакомый Федору Илья Зыбунов начнет с завтрашнего дня семейную жизнь. На крылечках то ленивенько разгораются, то притухают огоньки сигарок. Две соседки, каждая от своей калитки, через дорогу, через головы редких прохожих судачат о какой-то Секлетее – и такая она и сякая, и нос широк, и лицо в веснушках: «Как только на нее, конопатую, мужики заглядываются, уму непостижимо...»

Живет село неторопливо, спокойно готовится к ночи. Через час уснет с миром.

А среди других, грузно осевший в кустах малины, стоит дом. Угрюмо глядят на неуверенно приближающегося Федора его темные окна. Тяжело Федору переступить порог этого дома. И не переступил бы, прошел мимо, да нельзя. Так-то просто не отвернешься, не пройдешь мимо.

Федор осторожно толкнул дверь, она не открылась – заложена изнутри.

Что делать? Повернуть обратно? Постучать? И то и другое – одинаково трудно.

«Здесь пока живу, не в другом месте...» – Федор громко стукнул.

Долго не было ответа. Наконец раздался шорох.

– Кто тут? – Федор вздохнул свободней: не тесть, не теща, а Стеша, это хорошо.

– Я... Открой.

Молчание. Сперва морозный озноб пробежал под рубашкой, потом стало жарко до пота.

Но вот стукнул засов, дверь отошла, за ней послышались удаляющиеся шаги, резкие, сердитые.

Федор вошел, запер за собой дверь.

– Пришел, вражина? А зачем? Чего тебе тут?.. Тебе весь свет милей, чем мы! Поворачивай обратно! Глаза терпеть не могут тебя, постылого! Связалась я!..

– Стеша!.. Да обожди... Да брось ты... Пойми, выслушай...

Посреди комнаты, в белой рубаше, волосы растрепанные, неясное в темноте лицо, голос клокочет от злости, чем дальше, тем громче ее выкрики, срываются на визг. В тихом, уснувшем доме, где Федор приготовился говорить вполголоса, это не только неприятно, это страшно.

– Объяснить хочу...

– Какой ты мне муж! И чего я на тебя, дурака, позарилась!.. Пришел! На-ко, мол, полюбуйся!..

– Стеша!

– Не приютили тебя дружки-то, сюда приперся!..

– Брось, Стешка!

– Ай, мамоньки! Что же это такое! Напаскудил, отца оплевал, теперь на меня... Несчастье мое!.. В родном-то доме!..

– Брось плакать! Послушай!

Но Стеша не слушала; белая, высокая, сцепившая на груди руки, она визгливо, по-бабьи, заливалась слезами.

– За что-о мне на-а-ка-азание та-акое!

Стукнула дверь, в полутьме на пороге показалась теща в накинутом поверх исподней рубашки старом ватнике, пахнущая щами.

– Господи Боже, Иисусе Христе!.. Стешенька, родимушка, да что же это такое? Касаточка моя... Силан! Силан!.. Ты чего там лежишь? Дочь твою убивают!.. Ведь вахлак-то пьянешенек приперся!

И Федора взорвало:

– Вон отсюда, старое корыто! Нечего тебе тут делать!

– Си-и-илан!

– Мамоньки! Отец! Отец!

В белом исподнем, длинный, нескладный, ввалился Силантий Петрович, схватил за руку дочь, толкнул в дверь жену.

– Иди отседова, иди! Стешка, и ты иди! Опосля разберемся... Я на тебя, иуда, найду управу...

– Уйди от греха!

– Найду!

Как отзвук всего безобразного, донесся из-за двери голос тещи:

– Ведь он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!

Стало тихо. Федор долго стоял не шевелясь.

«Вот ведь еще какое бывает... Что теперь делать?.. Уйти надо сейчас же... Но куда?.. На квартиру к трактористам, к ребятам... Но ведь спросят – зачем, почему, как случилось?.. Рассказывать – себя травить, такое-то позорище напоказ вынести. Нет, уж лучше до утра здесь перемучиться!»

И чтобы только отогнать кошмар темной комнаты – смутные фигуры Стеши, ее матери с ватником на плечах, тощего, как ножницы, тестя в подштанниках, – Федор зажег лампу.

Разбросанная кровать, половички на полу, белая скатерка на столе, желтый лак приемника, лампа под бумажным колпаком... Всплыла ненужная мысль: «На лампу-то абажур купить собирался, сверху зеленый, белый понизу...» И не испуг, а какое-то недоумение охватило Федора: «Неужели конец?» Пол под ногами вымыт Стешей, скатерка на столе ее руками постелена, а края этой скатерти, знать, подрубала теща, половички, занавески, этот страшный сундук... Вспомнился выкрик: «Он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!» Радовался – свое гнездышко! Сейчас, куда ни повернись, скатерка, половичок – все, кажется, кричит Стешиным голосом: «Вражина! Куда приперся?»

«Гнездышко, да не свое... Ночь бы здесь провести, утром что-то придумать надо...»

Хотя на половине родителей, в маленькой боковушке, стояла широкая кровать с никелированными шарами, с пуховым матрасом, с горкой подушек, устланная нарядным верблюжьим одеялом, но старики обычно спали то на печи, то на полатах, подбросив под себя старые полушубки. Остаток ночи Стеша провела на этой кровати.

Первые часы она плакала просто от злости: «Кто дороже ему, вражине, жена родная или тетка Варвара?» Но мало-помалу слезы растопили обиду, стало стыдно и страшно. «Как еще обернется-то? А вдруг да это конец!..» Стеша снова плакала, но уже не от злобы, а от обиды: не получилось счастья-то.

А счастье Стеша представляла по-своему...

Она родилась здесь, в этом доме, здесь прожила всю свою недолгую жизнь.

Если б кто догадался ее спросить: «Случалось ли у тебя в жизни большое горе или большая радость?» – ответить, пожалуй, не смогла бы. Большое горе или большая радость? Не помнит. Когда ей исполнилось семнадцать лет, подарили голубое шелковое платье. Она и теперь его носит по праздникам... После этого отец с матерью каждый год справляют обновки. Каждая обновка – радость, но от голубого платья, помнится, радостнее всех было. А большей радости не случалось.

Училась в школе. В шестом классе уже выглядела невестой – рослая не по годам, и лицо с румянцем, и стан не девчонки. Училась бы неплохо, если б не математика, от задачек тупела. Но все же шла не хуже других, так – в серединке. В самодеятельности выступала, со школьным хором частушки на сцене пела...

Молодежь в своем колхозе обычно старалась не задерживаться. Парни уходили в армию и не возвращались, девушки уезжали то по вербовке, то учиться в ремесленное, то шли поближе, в райцентр, куда-нибудь делопроизводителем бумаги подшивать. Стеша не кончила восьмой класс – на вечерках поплясывать стала, парни провожали, сидеть за партой, решать, чему равно «а» плюс «б» в квадрате, казалось стыдновато, да и ни к чему, в ее жизни «иксы» да «игреки» не пригодятся.

От дома она не оторвалась, никуда не уехала, но и в колхозе работать – отец с матерью в один голос объявили – расчету нет. Поступила на маслозавод. Работа нетрудная – проверить молоко, принять, выписать квитанцию. На маслозаводе кроме нее работало всего пять человек, все пожилые, семейные. Стеше в товарищи не под пару.

Держалась сначала старых подруг, с ними она ходила на вечеринки, секретничала в укромных уголках, кружок самодеятельности посещала и даже в это время в комсомол вступила. Другие-то вступают, чем она хуже?..

Вступила, но собрания по вопросам сеноуборки или вывозки навоза – не вечеринки с пляской. Как-то само собой получилось – она отошла от старых подружек (немного их оставалось в колхозе), те забыли ее.

Началась жизнь: дом да маслозавод, маслозавод да дом, каждый день одна дорожка мимо дома Агнии Стригуновой, мимо ограды Петра Шибанова, мимо конторы правления... Скучно бы жить так, да надежда была – кому-кому, а ей не сидеть в вековушках. Найдется под стать ей парень, недалеко уж то время – найдется!

Как отец с матерью живут, она жить не собиралась. Целыми днями они хлопочут по хозяйству, сажают, поливают, на базары возят, на медке, на мясе да на картошке копейку выбирают. Едят сытно и еще обновы покупают, а ходят не нарядно, даже спят не по-человечески – печь да полати. В избе неуютно, стены голые, две темные иконки на божнице да отрывной календарь – вот и все украшение. Они довольны, частенько приходится слышать: «Сравнить с другими, справно живем, грех жаловаться...» И какой спрос с отца, с матери, – им век доживать и так хорошо.

Вот выйдет замуж – по-своему наладит. Муж будет обязательно или учитель, или агроном, культурный человек, чтоб книги читал, газеты выписывал. Займут они половину дома,

комнату с печью-голландкой. Тюлевые занавески на окнах, на столе патефон вязаной скатеркой накрыт, стеклянная горка с посудой – свое-то хозяйство из всей силушки станет обиходить.

Представлялось: раним-ранешенько, вместе с солнышком, проснется она – муж спит, сын (сын – непременно) спит; тихонько выходит она в огород. Босые ноги росяным холодком жжет, по крепким капустным листьям вода блестящими катышками сбегает, помидорным листом пахнет – все кругом свое, во все ее душа вложена... А по вечерам гости приходят. Не своя деревенская родня, не Егоры да Игнаты, а мужнины гости. За столом сидят, чай пьют, о политике рассуждают. Она или в сторонке с вышивкой на коленях, или угощает: «Кушайте на здоровье, медку-то не жалейте... Свои пчелы, сбор нынче хорош».

Вот оно, ее счастье, – мир, тишина да дом полная чаша.

Но не все как думалось, так и вышло. Муж хоть и собой парень видный, а не учитель, не агроном, почти свой брат-колхозник. Правда, книжки читает, газеты иногда на дом приносит, но гостей его приглашать неинтересно, не чаек, не разговор о политике их интересует – пиво да водка, споры о горячем.

Не совсем тот муж.

Стеша про себя тайком считала – осчастливила она Федора, могла бы и другому достаться. Потому и обидело ее страшно: Федор-то больше, чем родителей ее, больше, чем дом свой, больше ее самой посторонних уважает, тетку Варвару слушается!

Утром она, как всегда, ушла на работу. Там она сидела за закапанным чернилами столом, вздрагивала от каждого стука дверей. Все казалось – вот-вот должен войти Федор, и обязательно с повинной головой.

В маленькой конторке маслозавода было душно от нагретой солнцем железной крыши, стоял крепкий запах прокисшей сыворотки. Из-за размытых дорог, из-за жаркого дня молоко колхозы не везли, работы не было...

Стеша сидела и ждала. Федор не появлялся. Она вдруг почувствовала головокружение и тошноту...

12

Уснул с мыслью: утром что-то надо придумать, – а придумать ничего не мог.

Ходил по распаханым полям от трактора к трактору, потом выбрал сухое местечко, на припеке, лежал на земле, надвинув фуражку на глаза, дремотно глядел в весеннее густо-синее небо.

«К матери бы съездить. Давно уже не был. Холостым-то что ни месяц навещал...» И вспомнилась Федору мать. Идет, согнувшись, мелкой торопливой походочкой, голова в выгоровшем платке вперед, руки назад отброшены.

Встретит бригадира, начинает обязательно выговаривать: «Куда смотришь? Где глаза твои?.. За лопатинским двором в овсе козы гуляют. Огорожу поправить досуга у вас нет! Старухе заботиться приходится. Лаз – что ворота. Я там прикрыла малость». И бригадир спокоен: раз Дарья Соловейкова «прикрыла малость», значит – порядок, там козы не пролезут. Он стоит, выслушивает, пока Дарья не устанет.

Любит мать поворчать. Отцу-покойнику доставалось на орехи. Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него что-нибудь новенькое приготовлено: на повети крыша прохудилась, поленницу не на место сложил, дрова сырые привез. Отец так и называл: «Обедать с музыкой». А сколько затрещин Федьке перепало!.. Ворчлива мать, неуживчива, а в деревне ее любят...

«К ней бы поехать, выложить все – поймет, пожалеет, поругает по-своему... Нет!»

У матери одна теперь радость – сыновья. Они счастливы – счастлива и она. Приехать, пожаловаться... Со стороны-то для нее его горе вдесятеро больше покажется. «Нет уж, сам решай, не порти жизни матери».

Федор поднялся, нехотя направился в село.

Тетка Варвара, видно, своим бабьим сердцем учуяла беду Федора.

– Чегой-то невесел, молодец? – Но расспрашивать не стала. Она знала, что Федор привел обратно лошадь, знала и семью Ряшкиных... Она просто предложила: – Пойдем-ка ко мне, гостем будешь. А то работаем, считай, вместе, а знакомство конторское. Негоже! И старик мой рад-радешенек будет: раз гость, значит, и косушка на стол. Любит.

Домик у председательши был всего в четыре окна – две крохотные горенки с чисто выскобленными стенами. Под полатами Федору пришлось согнуться.

– Чего так разглядываешь мое житье? – спросила тетка Варвара.

– Могла бы и пошире жить.

– Не положено. Многие не лучше меня живут. Коль мне ставить новую хоромину, так и другим надо... В лесу утонули, одни крыши на солнце проглядывают, а по всему селу постройки не только до колхозов, а еще до революции ставлены. Руки не доходят.

– Кто же виноват? Вон в Хромцове целая улица новая.

– Кто ж виноват? Может, и я... Опять, старый, пол не подмел?

– А то каждый день полагается? – весело и бойко отозвался старик.

Муж тетки Варвары был тщедушный, с прозрачной седенькой бородкой, морщинки у него по лицу беспечные, разбежались в улыбке. Федор знал – дед Игнат был дальний родственник Алевтине Ивановне, – значит, и его. Игнат был на их свадьбе, выпил не больше других, но всех скорей охмелел.

– Плохая ты у меня хозяйка, – покачала головой Варвара.

– Заведи другую... Вот, братец ты мой, уж куда как плохо, коль жена в руководящий состав попадет, – обратился дед Игнат к Федору. – Мне и пол мести, и печь топить, беда прямо...

– Сознаться уж подчистую, чего там скрывать! Ты у меня и корову обиходишь, и тесто ставишь... Научился. Такие пряженики печет, что куда там мне! Только ленив: пока стопочку не посулишь, пальцем не шевельнет. Иной раз черствой корки в доме не сыщешь. И талант вроде к домовитости есть, да бабьей охотки недостает.

Грубая, резкая Варвара словно размякла дома, голос густоватый, ворчливый, добрый.

– Чего-сь, не сбегать ли мне, Варварушка? – напомнил старик.

– Рад, старый греховодник. Беги уж. Только быстро.

– Сама знаешь, сызмала прыток на ногу.

– На что, на что – на это дело тебе прыти не занимать.

Дед Игнат порылся за печью, достал пустую бутылку, сунул ее в карман, лукаво подмигнул Федору, скрылся.

«Сейчас, верно, расспрашивать начнет, что да как?.. Неспроста же позвала...» – подумал Федор, когда они остались наедине.

Но тетка Варвара и не думала расспрашивать, она сама стала рассказывать о себе.

– Вот, говорят, плохо руковожу... А что тут удивляться? Я ведь баба необразованная. Видишь, книжки в доме держу, тянусь за другими, а ухватка-то на науку немолодая...

Дед Игнат в самом деле оказался прыток на ногу.

– Вот как мы! – заявил он, появляясь в дверях, и засуетился, забежал от погребца к столу.

Сели за стол.

– Ох, зло наше! – неискренне вздохнул дед Игнат перед налитой стопочкой.

– А себе-то что? – спросил Федор тетку Варвару.

– Уж не неволь.

– Мы сами, мы сами... Она и так посидит, за компанию. За твое здоровье, племянничек! Ведь ты вроде того мне, хоть и коленце наше далекое.

Пошел обычный застольный разговор обо всем: о семенах, о севе, о подвозе горючего, о нехватке рабочих рук.

– В сев-то еще ничего, обходимся. А вот сенокосы начнутся! Наши сенокосы в лесах, наполовину приходится не косилками, а по старинке косой-матушкой орудовать. Вот когда запоем – нету народу, рук нехватка! Привычная для нас эта песня... Нам бы поднатужиться, трудодень поувесистей дать, глядишь, те, кто ушел, обратно повернули бы. Толкую, толкую об этом – нажмем, постараемся, кто-то слушает, а кто-то и умом не ведет. Есть люди – дальше своего двора и знать не хотят. Мякина в чистом помоле.

– На моих, верно, намекаешь? – спросил Федор.

– К чему тут намекать? Ты и сам без меня видишь... Эх, Федюха, Федюха, молодецкая голова, да зеленая! Ошибся ты малость. Зачем тебе было к Ряшкиным лезть? Уж коль взяла тебя за душу стать Степанидина, так отрывай ее от родного пристанища. Одну-то ее, пожалуй бы, и настроил на свой лад. Ты – к ним залез, всех троих не осилишь. Тебя б самого не пере-красили...

Федор молчал.

– Силан-то не из богатеев. До богатства подняться смекалки не хватало, а может, и жадность мешала. Жадность при среднем умишке не всегда на богатство помощница. Чтоб богатство добыть, риск нужен, а жадность риск душит. А уж жаден Силан: под себя сходит да посмотрит, нельзя ли на квас переделать. Прости, я попросту... Вот такие-то силаны при организации колхозов ой как тяжелы были!.. Середняк, с виду свой человек, а нутро-то кулацкое, вражье! Теперь-то вроде не враги, а мешают. Вот уж истинно – бородавки. Боли от них особой нет, а досаждают.

– Ты так говоришь, что мне одно осталось – пойти да поклониться: бывайте здоровы.

– Нет, на то не толкаю. Попробуй вырви зуб из гнилых десен. Только вначале надо было это сделать. Теперь-то скрывать нечего, трудненько. Ведь я знаю: получил нагоняй от Стешки, что лошадь у отца отобрал. Веры-то у нее к родителям больше, чем к тебе... Для того я все это говорю, парень, чтоб не обернулось как бы по присловью: «С волками жить – по-волчьи выть». Воюй!

– Боюсь, что отвоевался. Нехорошо у нас этой ночью получилось, вспоминать стыдно.

– Понятно, не без того... Особо-то не казись, к сердцу лишка не бери. Хочешь счастья – ломай, упрямо ломай, а душу-то заморозь, зря ей гореть не давай.

Молчавший дед Игнат, хоть и с интересом вслушивавшийся в разговор, однако недовольный тем, что с разговором забыта и бутылка, произнес:

– Обомнется, дело семейное, не горюй!.. Ну-козь, выпьем по маленькой.

– А ты, – повернулась к нему тетка Варвара, – хоть словечко по деревне пустишь, смотри у меня!.. У тебя ведь с бабьей работой и привычки бабьи объявились, есть грешок – посплетничать любишь. Сваха бородастая!

– Эх, Варька, Варька! Да разве я?.. Язык у тебя, ей-бо, пакостней не сыщешь.

– Ладно! У человека – горе.

– Я ему друг или нет? Ты мне скажи: кто я тебе? – У деда уже заговорил хмелек.

В синее вечернее окно осторожно стукнули с воли.

– Кто это там? Не твои ли, Федор? Мои-то гости по окнам не стучат, прямо в дверь ломаются. – Тетка Варвара поднялась, через минуту вернулась, кивнула коротко Федору: – За тобой, иди.

У окна, прислонившись головой к бревенчатой стене, стояла Стеша. И хотя вечер был теплый, она зябко куталась в свой белый шерстяной полушалок.

Ни слова не обронили они, торопливо пошли прочь от председательского дома. И только когда завернули за угол, скрылись от окон тетки Варвары, оба замедлили шаг. Федор понял – сейчас начнется разговор. Он поднял взгляд на жену. С лица у нее сбежал румянец, глаза красные, заплаканные, но в эту минуту блестят сухо.

– Водочку попиваешь? В гости ушел? А та и рада... Жаловался ей, поди? Знал, кому жаловаться. Варваре! Она, злыдня, нашу семью живьем съест готова.

Стеша, закусив зубами край шерстяного платка, беззвучно заплакала.

– Плачь не плачь, а тебе одно скажу, – сурово произнес Федор, – жить я в вашем доме не стану! Или идем вместе, или один уйду. Подальше от твоих. Вот мое слово, переиначивать его не буду.

– Она! Она, подлая! У-у, горло бы перегрызла! Собачье отродье! Мало ей, что по селу нас позорит, жизнь мою разбить хочет! Из-за чего?.. Что злого мы ей сделали? Я-то ей чем не потрафила?

– Ее винить нечего. Она тут ни при чем. Ошибся я, что согласился к вам переехать. Стеша... уедем в село, при МТС жить будем.

– Никуда не поеду! Чем тебе здесь худо? Уж, кроме как своей работы, и заботы никакой нет. Плохо ли живешь? Хозяйство, усадьба... А там садись-ка на жалованье.

– Стеша, чего жалеешь? Нужно – и там все будет.

– Зна-аю... Да и что говорить! Нельзя мне ехать от дому. Ты б поинтересовался когда... Души в тебе столько же, сколько у злыдни Варьки совести!.. Ребенок же у меня!

– Ребенок!

– Сегодня на работе голова закружилась, рвать стало... Мать ощупывала... Куда я с ребенком-то от дому поеду? От матери к няньке чужой... От добра добра не ищут, Феденька-а...

Стеша плакала. Федор молчал.

Так – одна плачущая тихими слезами, другой молчаливый, замкнутый – вошли в дом. У крыльца их встретила Алевтина Ивановна, проводила косым взглядом.

Должен быть ребенок. Но его еще нет, он не появился в семье. Не появился, а уже участвует в жизни.

13

Федор и представить себе не мог, как после ночного скандала жить под одной крышей с тестем и тещей, варить обеды в одной печи, каждый день встречаться... Ведь друг другу в глаза глядеть придется, о чем-то нужно разговаривать! А не разговаривать, слушать со стороны тошно...

– Никакой заботушки в нашем колхозе о людях! Нету ее.

– Захотела, – бубнит в ответ тещь.

– Скоро для коровы косить... Опять на Совиные или в Авдотьину яругу тащиться?

– А куда же? Может, ждешь, по речке на заливною отваяют?

– Мало ли местов-то.

– Ты к Варваре иди, поплачь, может, пожалеет... Вон собираются на Кузьминской пустоши пни корчевать – подходяще для нашего брата.

– Ломи на них, они это любят.

Этим кончаются все разговоры, изо дня в день одни и те же. Противно! Противна бывает и ехидная радость Алевтины Ивановны: «В нашем-то кабанчике уже пудиков восемь будет, не колхозная худоба». Противна даже привычка тестя тащить с улицы оброненные подковы, ржавые гвозди, дверные петли, обрывки ременной сбруи... Все в них противно! Как жить с ними?..

Отказаться, не жить, разорвать – значит, разорвать со Стешей. Да и только ли с ней? Ее белое лицо потеряло свежесть. Не выносила мясного, рыбного и запаха хлеба. Сомнений уже быть не могло.

Казалось бы, невозможно жить, но это только казалось. Федор продолжал оставаться в доме Ряшкиных.

В глаза друг другу почти не глядели, зато Федор часто промеж лопаток, в затылке ощущал зуд от взглядов, брошенных в спину. Разговаривали по крайней нужде. И всегда так: «Стеша просит дров наколоть, мне бы топор...» Назвать тестя «отцом» не лежит душа, назвать по имени-отчеству – обидеть, прежде-то отцом звал.

Стеша же осунулась и подурнела, и не только от беременности. В глазах, постоянно опущенных к полу, носила скрытый страх, горе, тяжелую, глухую злобу не столько на Федора, сколько на «злыдню Варвару». День ото дня она больше и больше чуждалась мужа.

Иногда Федор исподтишка следил за ней: «Обнять бы, приласкать, поговорить по душам...» Да разве можно! Слезы, объяснения, а там, глядишь, и попреки, крики, прибегут опять отец с матерью.

По ночам, лежа рядом со Стешей, отвернувшейся лицом к стене, Федор кусал кулаки, чтоб не кричать от горя, от бессилия: «Тяжко! Невмоготу! Душит все!»

В полях, около тракторов, в МТС Федор мог и шутить, и смеяться, и заигрывать с секретаршей Машенькой, вызывая ревность у Чигова. На промасленных нарах эмтээсовского общежития теперь он был почти счастлив.

Вот уж воистину – не ко двору пришелся. Не ко двору...

Страшные это слова, на человеческих страданиях они выросли.

Все чаще и чаще приходила мысль: «Не может же так вечно тянуться. Кончится должно... Когда? Чем?...»

Шел день за днем, неделя за неделей, а конца не было.

Как всегда, пряча глаза, Стеша заговорила:

– У тебя завтра день свободен?

– Свободен, – с готовностью ответил Федор, благодарный ей уж только за то, что она заговорила первой, и заговорила мирно.

– Отец идет косить на Совиные вырубki. Может, сходишь, поможешь?.. Молоком-то пользуемся от коровы.

– Ладно, – произнес он без всякой радости.

Силантий Петрович и Федор вышли ночью.

До Совиных вырубок – пятнадцать километров, да и эти-то километры черт кочергой мерил.

Тропа, засыпанная пружинящим под ногами толстым слоем прелой хвои, протискивалась сквозь мрачную гущу ельника. Шли, словно добросовестно исполняли трудную работу, слышалось только сосредоточенное посапывание. Тут людям и в приятельских отношениях не до разговоров. Федор, наткнувшись щекой на острый сук да еще когда споткнулся о корневище, дважды выругался: «А чтоб тебя!» Тесть же, переходя по стежке, переброшенной через крутой овражек, за весь путь лишь один раз подал голос:

– Обожди, не сразу... Обоих не сдержит...

Больше до самых вырубок они не произнесли ни слова.

Года четыре назад здесь шли лесозаготовки, насадно визжали электропилы, с угрожающим, как ветер перед грозой по траве, шумом падали сосны, трелевочные тракторы через пни, валежник и кочки тащили гибкие хлысты.

Теперь тихо, пусто, диковато. Далеко друг от друга стоят одиночки-деревья. Это не случайно уцелевшие после вырубki, это семенники. Они должны заново засеять освобожденную от леса землю. Когда-то стояли они в тесной толпе собратьев, боясь опоздать, остаться

без солнца, торопливо тянулись вверх. Теперь вокруг никого не осталось, лишь им выпала участь жить. Стоят длинные, тонкие, словно общипанные, бережно хранят на верхушках жалкие клочки листвы или хвои. На земле же среди потемневших пней кустится молодая крупнолистная поросль берез, ольхи, осины, где помокрей да помягче – ивнячок да смородина. На этих-то мягких местах и косят обычно те рачительные хозяева, которые не особо надеются на укусы с колхозных лугов. Тут растет больше трава, зовущаяся по деревням «дудовник» или «пучки». Ребятишки с аппетитом едят ее мясистые, пахнущие стебли, очистив их от жестковатой ворсистой кожицы. Косить ее надо до цвету, иначе вырастет, станет жесткой, как кустарник, отворачиваться будет от нее скот.

Верхушка ближайшей березы-семенника розово затеплилась. Где-то, пока еще невидимое с земли, поднялось солнце.

Встали на пологой долинке – Федор с одного конца, Силантий Петрович – с другого. Старик, прежде чем начать, с сумрачной важностью (боялся, что зять в душе посмеется над ним) перекрестился на розовеющую верхушку березы. Он первый начал. Взмахи его косы были осторожны, расчетливы и в то же время резки, как удары.

В Заосичье, где родился Федор, говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Не было поблизости ни заливных лугов, ни ровных суходолов. Отец Федора считался одним из лучших косцов по деревне и гордился этим: «Невелика наука по ровному-то, а вот по нашим местам с косой пройдишь, тут без смекалки и разу не махнешь».

Позднее, когда Федор выучился ездить на велосипеде и умудрялся отмахивать за час от Хромцова до Большовской МТС двадцать километров по разбитому проселку, всегда вспоминал косьбу с отцом по окраинам буераков, на горях, по затянутым кустарником полянам.

На велосипеде все время напряженная борьба с дорогой. Каждая выбоина, песчаный, размятый копытами кусок, глубокая колесная колея – все надо обойти, изловчиться, победить. Так и при косьбе в лесу.

Маленький кустик утонул в густой траве. Боже упаси недоглядеть, всадить в него косу! Носком косы, стежок за стежком, подрубаются трава. Она ложится на землю. Кустик, освобожденный от травы, топорщится, кажется – сердится на человека, он оголен, он недоволен, но с ним покончено, остается перешагнуть и дальше... Свободное место, ровная трава – раз, два! – широкие взмахи. То-то наслаждение – не копать, а развернуться от плеча к плечу. Но не увлекайся – из травы выглядывает макушка полусгнившего пня, он сторожит косу...

Кустик, пенек, трухлявый ствол упавшей березки – все надо обойти, изловчиться, победить.

Федор забывал о тесте.

Солнце поднялось над лесом, стало припекать, прилипла к спине рубаха. Только когда от Силантия Петровича доносился визг бруска о косу, Федор тоже останавливался, пучком травы отирал лезвие, брался за свою лопатку. Им в одно время захотелось пить. Оба положили косы, с двух сторон пошли через кусты к бочажку ручья. Федор постоял в стороне, подождал, пока Силантий Петрович напьется. Тот, припав к воде, пил долго, отрывался, чтоб перевести дух, с желтых усов падали капли. Напившись, осторожно, чтобы не намутить, сполоснул лицо и молча отошел. Его место занял Федор. Лежа грудью на влажной земле, тоже пил долго, тоже отрывался, чтобы перевести дух.

К полудню сошлись. Меж ними оставалось каких-нибудь двадцать шагов ровного, без пней, без кустов, без валежин, места. Взмах за взмахом, шаг за шагом сближались они, красные, уставшие, увлеченные работой.

Быть может, они бы сошлись и взглянули бы в глаза. Что им делить в эту минуту? Оба работали, оба одинаково устали, один от одного не отставал, тайком довольны друг другом... Быть может, взглянули бы, но, быть может, и нет.

Они сходились. «Вжи! Вжи!» – с одной стороны взмах, с другой стороны взмах, с сочным шумом валилась трава.

Федор вдруг почувствовал, что его коса словно бы срезала мягкую моховую шапку с кочки. Он сдержал взмах и сморщился, словно от острой боли. Лезвие косы было запачкано кровью. На срезанной траве в одном месте тоже следы крови, темной, не такой яркой и красной, как на блестящей стали. Бурый меховой бесформенный комочек лежал у ног Федора. Он перехватил косой крошечного зайчонка.

Силантий Петрович, отбросив косу, стал что-то ловить в траве, наконец поймал, осторожно разогнул. Федор подошел.

– Задел ты его, парень. Концом, видать... Ишь кровца на ноге.

В грубых широких ладонях тестя сидел второй зайчонок; к пушистой сгорбленной спинке крепко прижаты светлые бархатные ушки, без испуга, с какой-то болезненной тоской влажно поблескивает темный глазок.

– Выводок тут был. Где ж уследишь? – виновато пробормотал Федор.

– Божья тваринка неразумная. Нет чтоб бежать... досиделась.

И в голосе, и на дубленом лице тестя в глубоких морщинах затаилась искренняя жалость, настоящее, неподдельное человеческое сострадание.

– Не углядишь же...

– Углядеть трудно. Дай-кося тряпицу какую. Перетянем лапу, снесем домой, может, и выходят бабы. Тварь ведь живая.

Домахнув остатки, они отправились обратно. Силантий Петрович нес свою и Федора косу. Федор же осторожно прижимал к груди теплый, мягкий комочек.

В этот вечер ужин готовился не порознь. Уселись за стол на половине стариков. Ни браги, ни водки не стояло на столе, а в доме чувствовался праздник.

Силантий Петрович и Федор, оба в чистых рубашках, сидели рядом, разговаривали неторопливо о хозяйстве.

– Запозднись на недельку, – перестояла бы трава.

– Перестояла бы... А ты, парень, видать, ходил с косой по лесным-то угодыям. Не хваля скажу – меня, старика, обставил.

– Как не ходить! Не из городских, чай.

– Оно и видно.

Алевтина Ивановна на лавке около печки прикладывала смоченные в воде листочки к раненой ноге зайчонка и ласково уговаривала:

– Дурашка моя, кровинушка, чего ж ты, родимый, пугаешься? Не бойся, касатик, раньше бы тебе бояться. Ра-аныше... Угораздило, болезного, подвернуться.

А в стороне, так чтоб не слышать запах мясного борща со стола, сидела и пила топленое молоко Стеша. Светлыми, счастливыми глазами смотрела она на всех: мирно дома, забыто старое.

Она-то промеж Федора да родителей стояла, ей-то больше всех доставалось, зато уж теперь больше всех и радостно. Мирно дома, забыто старое.

14

Пришел поутру бригадир Федот Носов, высокий, узкоплечий, с вечной густой щетиной на тяжелом подбородке. Он нередко заглядывал к Силантию Ряшкину, и Федор, приглядываясь к ним, никак не мог понять – друзья или враги промеж собой эти два человека. Если Федот, войдя, здоровался в угол, останавливался посреди избы, не присаживался, не снимал шапки, значит, не жди от него хорошего. Если же он сразу от порога проходил к лавке и присаживался,

стараясь поглубже спрятать свои огромные пыльные сапожищи, значит, будет мирный, душа в душу, разговор, а может, даже и бутылочка на столе.

На этот раз бригадир остановился посреди избы, смотрел в сторону.

– Силан, – сказал он сурово, – завтра собирайся на покосы.

– Что ж, – мирно ответил насторожившийся Силантий Петрович, – как все, так и я.

– Варвара сказала, чтоб ныне кашеваром я тебя не ставил. Клавдию на кашеварство. Болезни у нее, загребать ей трудно. Ты-то для себя косишь небось? Вот и для колхозу постарайся.

– Поимейте совесть вы оба с Варварой – ведь старик я. Для себя ежели и кошу, то через силушку. Не выдумывай, Федот, как ходил кашеваром, так и пойду.

– Ничего не знаю. Варвара наказала.

Федот повернулся и, согнувшись под полатами, глухо стуча тяжелыми сапогами, вышел.

– Ох, пакостница! Ох, змея лютая! Своего-то старика небось подле печки держит! А этот-то как вошел, как стал столбом, так и покатилося мое сердечко... Ломи-ко на них цело лето, а чего получишь? Жди, отваят...

Силантий Петрович оборвал причитания жены:

– Буде! Возьмись-ко за дело. Бражка-то есть ли к вечеру?

– Бражка да бражка, что у меня, завод казенный или фабрика?

Вечером бригадир снова пришел, но держал себя уже иначе. Прошел к лавке, уселся молчком, снял шапку, пригладил ладонью жесткие волосы, заговорил после этого хотя осуждающе, но мирно:

– Лукавый ты человек, Силан. За свою старость прячешься – нехорошо. Ты стар, да куда как здоров, кряжина добрая, а Клавдия и моложе тебя, да хворая...

Федор знал, чем кончится этот разговор, и он ушел к себе, завалился на кровать. Пришла Стеша, напомнила ласково:

– Не след тебе, Феденька, чуждаться. Пошел бы, выпил за компанию.

Федор отвернулся к стене.

– Не хочу.

Стеша постояла над ним и молча вышла.

Назавтра стало известно – Силантия Петровича снова назначили кашеваром.

Ничего вроде бы не случилось. Не было ни криков, ни ругани, ни ночных сцен, но в доме Ряшкиных все пошло по-старому.

Снова Стеша стала прятать глаза. Снова Федор и тесть, сталкиваясь, отворачивались друг от друга. Снова теща ворчала вполголоса: «Наградил Господь зятьком. Старик с утра до вечера спину ломает, а этот ходит себе... У свиньи навозу по брюхо, пальцем не шевельнет, все на нас норовит свалить».

Если такое ворчание доходило до Федора, он на следующий день просил у тестя: «Мне бы вилы...» И опять не отец, не Силантий Петрович, просто: «Мне бы...» – никто!

Федор старался как можно меньше бывать, дома. Убегал на работу спозаранку, приходил к ночи. Обедая на стороне – или в чайной, или с трактористами. А так как за обеды приходилось платить, он перестал, как прежде, отдавать Стеше все деньги и знал, что кто-кто, а теща уж мимо не пропустит, будет напевать дочери: «Привалил тебе муженек. Он, милушка, пропивает с компанией. Ох, несемейный, ох, горе наше!»

Особенно тяжело было вечерами возвращаться с работы. Днем не чувствовал усталости: хлопотал о горячем, ругался с бригадирами из-за прицепщиков, кричал по телефону о задержке запасных частей, бегал от кузницы до правления. К вечеру стал уставать от беготни.

Тяжелой походкой шел через село. Лечь бы, уснуть по-человечески, как все, не думая ни о чем, не казнясь душой. Но как не думать, когда знаешь, что, поднимаясь по крыльцу, обязательно вспомнишь – третьего дня тесть здесь новые ступеньки поставил, зайдешь в ком-

нату – половички, на которые ступила твоя нога, постланы и выколочены Стешей, постель, куда нужно ложиться, застелена ее руками. Каждая мелочь говорит: помни, под чьей крышей живешь, знай, кому обязан! Даже иногда полной грудью вздохнуть боязно – и воздух-то здесь не свой, их воздух.

Стеша, с похудевшим лицом, встречает его тяжелым молчанием, иногда заставлял плачущей. А это самое страшное. По-человечески, как муж жену, должен бы спросить, поинтересоваться: что за слезы, кто обидел? Да как тут интересоваться, если без слов все ясно – жизнь их несуразная, оттого и слезы! Кто обидел? Да он, муж ее, – так считает, не иначе. Лучше не спрашивать, но и молчать не легче. Подняться бы, уйти, хоть средь луга под стогом переночевать, но нельзя. Здесь твой дом, жить в нем обязан. Обязан в одну постель с женой ложиться.

И так из вечера в вечер.

Не может так долго тянуться. Кончиться должно. Уж скорей бы конец! Пусть тяжелый, некрасивый, но конец – все лучше, чем постоянно мучиться.

Нельзя жить! Нельзя, а все же каждый вечер Федор послушно шагал через село к дому Ряшких.

15

У Федора была тетрадь. Он ее называл «канцелярией». Туда заносил и выработку трактористов, и расход горючего за каждый день. Эту «канцелярию», промасленную и потертую, сложенную вдвое, он носил всегда во внутреннем кармане пиджака и однажды вместе с пиджаком забыл ее дома.

Прямо с поля он приехал за тетрадью, оставил велосипед у плетня, вошел во двор и сразу же услышал за домом истошное козье блеянье. Ряшкины своих коз не держали – верно, чужая забралась. Крик был с надрывом, с болью. «Какая-то блудливая допрыгалась, повисла на огороде, а сейчас орет». Федор, прихватив у крыльца хворостину, направился за усадьбу и остановился за углом.

Коза не висела на огороде. Она стояла на земле, сзади на нее навалилась Стеша, спереди, у головы, с обрывком веревки в руках орудовала Алевтина Ивановна. Поразило Федора лицо тещи – обычно мягкое, рыхловатое, оно сейчас было искажено злобой.

– Паскуда! Сатанинское семя! Стеша! Милушка! Да держи ты, Христа ради, крепче!.. Так ее!

Коза рвалась, взмахивала кричала.

«Рога стягивают», – понял Федор.

Козы – вредное, пронырливое, надоедливое племя. От них трудно спасти огороды. Их гоняют, бьют, привязывают неуклюжие рогатины и тяжелые волокуши на шеи, все это в порядке вещей, но редко кто решается на такую жестокость – стянуть рога. Оба рога, расходящиеся в стороны, сводятся как можно ближе друг к другу, стягиваются крепко-накрепко веревкой, и коза отпускается на свободу. От стянутых рогов животное чувствует ужасную боль в черепе, мечется, не находя себе места. Если сразу не освободит ее хозяйка от веревки, коза может лишиться и без того небольшого козьего разума. Будет ходить пошатываясь, постоянно с тихой жалобой плакать, плохо есть, перестанет доиться – словом, как называют в деревне, станет «порченой».

– Все, Стешенька, пускай... В огурчики, ведьма, залезла! Огурчиков захотелось!

В две палки ударили по козе, та рванулась, все так же блажно крича, пронеслась мимо Федора.

В первую минуту Федору было только стыдно как человеку, который, сам того не желая, оказался свидетелем нехорошего дела. И Стеша, заметив его, должно быть, почувствовала это. Отвернулась, нагнулась к огуречным грядкам.

Теща, все еще с красным, озлобленным лицом, прошла, не обратив на Федора внимания. – Огурчики пощипала! Вдругорядь не придет!

За тетрадкой Федор так и не зашел. Он сел на велосипед и поехал в поле.

Смутная тяжесть легла на душу. Такой еще не испытывал. Не жестокость удивила и испугала его и уж, во всяком случае, не жалость. Попадись эта блудливая коза под его руку, тоже бы отходил – помнила. Люди непонятные, вот что страшно. Как же так – один человек может обхаживать раненого зайчонка, обмывать, перевязывать, ворковать над ним: «Кровинушка, болезный...» – и тут же мучить другую животину? А лицо-то какое было! Переверотило от злости – зверь! «Огурчики пощипала!» Ну, теща – еще понятно, она за свои огурчики живьем, не с козы, с человека кожу содрать готова, но Стеша!.. Тоже, знать, осатанела за огурчики. «Девка гладкая, на медовых пышках выкормленная!» И только-то? Мало этого для жизни, оказывается.

Пустой случай. Подумаешь – поглядел, как козу наказывают! Кому рассказать, что расстроился, – засмеют. Не обращать бы внимания, забыть, не вспоминать, но и подумать сейчас не мог Федор о вечере... Опять вернуться, через стенку ворчанье тещи слушать, щи хлебать, в их печи сваренные, с тестем при встрече отворачиваться, с женой в одну постель ложиться! Докуда терпеть это наказание? Хватит! Пора кончать, рвать надо! Но ребенок ведь скоро будет. Его не ветром надуло. Отец-то ты, Федор! Что же делать?.. Может, ради ребенка под них подладиться? Может, как теща, сатанеть над огурчиками? Может, плюнуть на все, подпевать вместе с тестем: «Ломи на них, они это любят»? Душу себе покалечить из-за ребенка? Нельзя! Пора кончать! Рвать надо!

Вдоль лесной опушки, по полю, оставляя за собой темную полосу пахоты, полз трактор. Положив у заросшей ромашками бровки велосипед, Федор прямо по отвалам направился к трактору. Трактор вел Чижев. Он остановился, слез не торопясь, кивнул головой прицепщику, веснушчатому пареньку в выцветшей рубашке:

– Разомнись пока. Как, Федор, уладил с горючим?

Федор прилег на траву.

– Нет. Тетрадь дома забыл.

– Ты ж за ней поехал...

Федор промолчал.

– Слушай, – обратился он через минуту, – там у меня велосипед, съезди ко мне домой, возьми тетрадь.

– А сам-то?

– Да что сам, сам... Тяжело съездить?

– Уж и на голос сразу. Съезжу, коль поработаешь.

Чижев повернулся, пошел было, но Федор вскочил, догнал его, схватил за рукав, повел в сторону.

– Обожди, разговор есть...

Они уселись в тени, под покачнувшейся вперед маленькой березой. И хотя давно уже меж ними была забыта старая обида, но Федор о семейных делах никогда не говорил с Чижевым. Считал – не с руки выносить сор из избы. А тем более перед Чижевым плакаться на судьбу стыдно. Теперь же Федору было все равно – не сейчас, так завтра узнают все, узнает и Чижев, и еще с добавлениями. Добавлений не миновать, такое дело...

Но Федор молчал, долго курил. Чижев с легким удивлением приглядывался к нему. Березка шелестела листьями над их головами.

– Ну, чего ты хотел? – не вытерпел Чижев.

– Слушай, скажи моим, – начал Федор и запнулся. – Скажи, – продолжал он решительнее, – не вернусь я к ним больше... Пусть соберут мои вещи... Сапоги там остались новые, в сумке лежат... Полушубок, рубашки, приемник... Я к вам на квартиру жить перееду.

– Ты в уме ли? Дурная муха тебя укусила?
– Скажи, что вечером вы приедете за вещами.
– Федька! Ну, хоть убей, не пойму.
– Да что понимать? Не ко двору пришелся. Нет моченьки жить в ихнем доме.
– Это почему?
– Объяснять долго... Да и не рассказать всего-то. Народ они нехороший, тяжелый народ. Ты, Чижик, лучше не расспрашивай. Ты иди делай, не трави меня. Мне, брат, без твоих распросов тошно...

Чижов посидел, подождал, не скажет ли еще что Федор, но тот молчал. Чижов осторожно поднялся. Сбитая на затылок истасканная кепка, приподнятые плечи, боязливо шевелящиеся острые локти прижатых к телу рук – все выражало в удаляющемся Чижове недоумение.

Федор, отбросив окурок, поднялся, направился к трактору. Он осторожно тронул и сразу же через машину ощутил за своей спиной тяжесть плуга, выворачивающего пятью лемехами слежавшуюся землю. Это пришедшее чувство уверенной силы тянущего плуг трактора немного успокоило Федора.

Ему показалось, что Чижов вернулся слишком быстро.

– Сказал? Все?

– Все, как наказывал.

– А они что?

– Степанида-то заплакала, потом ругаться стала, кричать на тебя, на меня... Я думал, в лицо вцепится... А какая красивая она была...

При последних словах Федор представил себе Стешу, лицо осунувшееся, с несвежей от беременности кожей, искаженное злостью и обидой, растрепанные волосы...

«Была красивой». Чижов выдал себя. Он, верно, все ж таки завидовал немного Федору – хват парень, девки виснут на шею, – а теперь куда уж завидовать, просто откровенно жалеет.

Полуденная тишина жаркого дня стояла над полем.

Пахло бензином от трактора, теплой, насквозь прогретой солнцем землей, клевером. Федору хотелось лечь на землю лицом вниз и от жалости к себе тихо поплакать о своей неудачной жизни. Но маленький стыд бывает сильнее большого горя. Стоял рядом Чижов, топтался в стороне босоногий прицепщик, и Федор не лег на землю, не заплакал, постеснялся.

16

Обычный дом – изба, сложенная из добротного сосняка, тесовая крыша с примелькавшимся коньком, маленькие оконца. Под окнами кусты малины, посреди двора береза-вековуша. На тонком шесте она выкинула в небо скворечник. В глубине – стая и повесть. Въезд на повесть порос травкой. Все это огорожено плетнем.

Дом обычный, ничем не приметный, много таких на селе. И плетень тоже обычный. В нем не три сажени, не частокोल бревенчатый, из тонкого хвороста поставлен, хотя и прочно – чужой кошке лапу не просунуть. И все же этот плетень имеет скрытую силу – он неприступен.

Через неделю после ухода Федора Стеше исполнилось двадцать лет. Как всегда, в день ее рождения купили обнову – отрез на платье. В прошлом году был крепдешин – розовые цветочки по голубому полю, нынче – шелк, сиреневый, в мелкую точку. Купили и спрятали в сундук. Были испечены пироги: с луком и яйцами, с капустой и яйцами, просто с яйцами, налим в пироге. Отец, как всегда, принес бутылочку, налил рюмку матери. Как всегда, мать поклонилась в пояс: «За тебя, солнышко, за тебя, доченька. Ты у нас не из последних, есть на что поглядеть». Выпив, долго кашляла и проклинала водку: «Ох, батюшки! Ох, моченьки нет! Ох, зелье антихристово!» Отец, как всегда, проговорил: «Ну, Стешка, будь здорова», – опрокинул, степенно огладил усы. Все шло как всегда, одного только не было – радости. Той

тихой, уютной, домашней радости, которую с детства помнит Стеша в праздники. Все шло как всегда. О Федоре не вспоминали. Но под конец мать не выдержала; скрестив на груди руки, она долго смотрела на дочь, вздыхала и все же обмолвилась:

– Не кручинься, соколанушка. Бог с ним, непутевый был, незавидный.

И Стеша расплакалась, убежала на свою половину. В последнее время частенько ей приходилось плакать в подушку.

«Плохо ли жить ему было? Чего бы волком смотреть на родителей? Доля моя нескладная!.. Парнем-то был и веселый, и ласковый. Кто знал, что у него такой характер... Ну, в прошлый раз к Варваре пошел – понятно. Обругала, накричала я на него, мать его обидела. Теперь-то слова против не сказала. На что мать – и та, чтоб поворчать, пряталась, в глаза обмолвиться боялась. Может, ждет, чтоб я к нему пришла, поклонилась? Так вот не дождется!»

Она плакала, а внутри под сердцем сердито толкался ребенок.

И все ж таки не выдержала Стеша.

Возвращаясь с работы, она издали увидела его. У конторы правления стоял трактор. Варвара и трактористы о чем-то громко разговаривали. До Стеши донесся их смех. Рядом с Варварой стоял Федор и тоже смеялся. Каким был в парнях, таким и остался – высокий, статный, выгоревшие волосы упали на лоб.

А она – живот выпирает караваем, лицо такое, что утром взглянуть в зеркало страшно. «Стой в стороне, смотри из-за угла, кусай губы, слезы лей, ругайся, кляни его про себя... Смеется! Подойти бы сейчас к нему, плюнуть в бесстыжие глаза: что, мол, подлая твоя душа, наградила подарочком, теперь назад подаешься?.. При людях бы так и плюнуть!.. Да что люди?.. Варвара, трактористы, все село радо только будет, что Степанида Ряшкина себя на позорище выставила. Федор-то им ближе. И так уж шепчутся, что он обид не выдержал, извели, мол, парня. Кто его изводил? Сам он всю жизнь в семье нарушил...»

Дома Стеша не бросилась, по обыкновению, на подушку лицом. Она, чувствуя слабость в ногах, села на стул и, прислушиваясь к шевелившемуся внутри ребенку, мучилась от ненависти к Федору: «Бросил!.. Забыл!.. Смеется!.. Да как он смеет, бесстыжий!»

Сидела долго. Начало вечереть. Наконец стало невмоготу, казалось, можно сойти с ума от черных однообразных мыслей. Она вскочила, бросилась к двери.

Уже во дворе почувствовала, что вечер свеж, ей холодно в легоньком ситцевом платице, но не остановилась, не вернулась за платком – побоялась, что вскипевшая злоба может остыть, она не донесет до него.

Трактористы квартировали в большом доме, у одинокой старухи Еремеевны. Из распахнутых окон доносился шум голосов и стук ложек об алюминиевые миски. Трактористы ужинали. Стеша громко, с вызовом постучала в стекло. Дожевывая кусок, выглянул Чижев, увидел Стешу, торопливо кивнул, скрылся.

Стеша прислонилась плечом к стене, почувствовала все ту же слабость в ногах.

Федор вышел по-домашнему, в одной рубашке, с расстегнутым на все пуговицы воротом. Лицо у него было бледно и растерянно, чуб свисал на нахмуренные брови. Ведь муж, ведь знаком, дорог ей! И чуб этот белобрысый знаком, и руки, тяжелые, в царапинах, – все знакомо... Но смеялся недавно, живет легко, о ребенке забыл!..

Стеша шагнула навстречу.

– Не в землю смотри, на меня! – вполголоса горячо заговорила она. – Видишь, какая я? Нравлюсь? Что глазами-то мигаешь? Ребенка испугался?

– Звать обратно пришла? – хриловато и угрюмо спросил он. – Обратно не пойду.

– Может, ждешь, когда в ножки упаду?

– Стеша!

– Что – Стеша? Была Стеша, да вот что осталось. Любуешься?.. Полюбуйся, полюбуйся, наглядись! Запомни, какая у тебя жена, потом хоть в компании с Варварой обсмеешь!

– Стешка! Послушай!...

– Ты послушай! Мне-то больнее твоего теперь!..

– Иди из дому. Иди ко мне, Стеша! Забудем все старое!

– Иди! Из дому!.. Что тебе отец с матерью сделали? Что ты на них так лютуешь?.. Все совесть свою берег! Да где она у тебя, твоя совесть-то? Нету! Нету ее!.. – Стеша кричала уже во весь голос, не обращая внимания на то, что на крыльцо начали выходить трактористы. – Изверг ты! Жизнь мою нарушил!..

– Опомнись, не стыдно тебе?

– Мне стыдно! Мне? Еще и глаза не прячешь! Эх ты! Да вот тебе, бессовестному. Тьфу! Получай! – Стеша плюнула в лицо и бросилась на Федора, вцепилась в его рубашку.

Федор схватил ее за руки.

– Что ты!.. Что ты!.. Приди в себя!.. Люди же кругом, люди!

Она рвалась из его рук, изгибалась, упала коленями на землю, пробовала укусить.

– Что-о мне лю-уди?.. Пу-усть смотрят!..

Народ обступил их. Федор, держа за руки рвущуюся Стешу, старался спрятать свое багровое от стыда лицо.

Она враз обессилела, тяжело осела у ног Федора. Он выпустил ее руки. Уткнувшись головой в притоптанную травку, Стеша заплакала про себя, без голоса, видно было, как дергаются ее плечи. Федор, подавленный, растерянный, с горящим лицом, неподвижно стоял над ней.

– Поднимите! Домой сведите. Эх, поглазеть сбежались! – раздвигая плечом народ, подошла тетка Варвара.

Один из трактористов, дюжий парень Лешка Субботин, и бородатый кузнец Иван Пронин осторожно стали поднимать Стешу.

– Ну-ка, девонька, не расстраивайся. Пошли домой помаленьку, пошли... Мы сведем тебя аккуратно.

Поднятая на ноги Стеша столкнулась взглядом с теткой Варварой и снова дернулась в крепких руках парней.

– Это все ты! Ты, змея подколодная! Ты наговорила! Сжить нас со свету хочешь! Что мы тебе сделали? Что?

Тетка Варвара тяжело глядела в лоб Стешы и молчала. Кузнец Пронин уговаривал:

– Ты это брось, девонька. Некрасивое, ей-ей, неладное говоришь. Идем-ка лучше, идем.

– Все вы хороши! Все!.. За что невзлюбили? Никому мы не мешаем. Чужой кусок не заедали!..

Ее осторожно уводили, рыдающий голос еще долго раздавался из проулка.

Поздно вечером Федор пришел к тетке Варваре на дом, привел с собой Чигова.

– Буду проситься, чтоб на другой колхоз меня перекинули. После такого позорища я здесь жить не буду. Сейчас в МТС еду. За меня тут пока он останется. – Федор показал на Чигова.

Тот смущенно мялся.

– Уговори его, Степановна.

Тетка Варвара до их прихода читала книгу. Она не торопясь пошарила на столе – чем бы заложить? – подвернулся ключ от замка, положила в книгу, захлопнула, отодвинула в сторону и сказала:

– Не пушу.

– Не ты, а МТС меня пускать будет. А я не останусь! С работы вовсе уйду. Глаза на селе людям показать совестно. Где уж там оставаться...

– Знаю, но не пушу. Только-только из убожества нашего вылезать начинаем. Твоя бригада – основная подмога. К новому бригадиру привыкай. Это перед уборкой-то... Какой еще попадет?.. Нет уж! Поезжай, хлопочи – держать трудно, но знай – я следом выйду запрягать лошадь. И в райком, и в райисполком, в вашей МТС все пороги обоью, а добыю: заставят

тебя у меня остаться. Лучше забудь эту мечту. А о стыде говорить... Пораздумайся, отойди от горячки, тогда поймешь: стоит ли бежать от стыда?

– Нет уж, думать нечего. Прощай. Я с Чижовым говорил, ты сама ему наказы сделай... Федор ушел.

– Вот ведь, милушко, жизнь-то семейная! В сапогах с разных колодок далеко не ушагаешь. А по-разному скроены Стешка да Федор. Далекий путь, через всю жизнь бы идти вместе... Учти, молодец, повнимательней приглядывайся к людям. – Тетка Варвара спокойно уставилась на Чижова.

Тот нерешительно проговорил:

– А все ж бы уговорить его надо вернуться.

– Куда, в колхоз?

– В колхоз само собой. К жене вернуться. Ребенок же скоро у них будет.

– В дом Ряшкиных вернуться?.. Нет, не решусь уговаривать. Видел, картину разыграли? А что, ежели в том доме такие картины будут показываться каждый день, только без людей, наедине, за стенами?.. Смысла нету уговаривать, все одно не выдержит, сбежит. Стешку бы от дома оторвать – другое дело. Но присохла, не оторвешь. Знаю я их гнездо, крепко за свой порог держатся.

– Ребенок же, Степановна!

– Вот на него-то и одна надежда. Может, он Стешку образумит... Ну, иди.

– А наказы?

– Какие тебе наказы? Завтра доделывайте, что начали, а послезавтра Федор вернется.

– Уж так и вернется. Упрям он.

– Ну, кто кого переупрямит! Пойдешь сейчас, заверни к Арсентию, скажи – я зову. За меня останется. Мне завтра целый день по организациям бегать. Задал хлопот твой Федор.

Она взялась за книгу.

17

Тетка Варвара «переупрямила». Федор остался на прежнем месте. Конечно, не без того, шли по селу суды и пересуды, но Федор о них не слышал. К нему относились по-прежнему.

Стеша никогда не могла себе представить, что привычный путь через село от дому до маслозавода может быть таким мучительным. Из окон, с крылечек домов, отовсюду ей мерещились взгляды – чужие, любопытствующие. Она стала всего бояться. Она боялась, как бы встретившийся ей на пути человек, проходя, не оглянулся в спину; она боялась, когда ездые, приехавшие из соседней деревни с бидонами молока, переглядывались при виде ее. Всюду чудился ей один короткий и страшный вопрос: «Эта?..»

Часто думала: люди-то, по всему судя, должны не ее, а Федора осудить. Он ушел из дому, он бросил ее, с ребенком бросил! Не Федора, ее осуждают, где же справедливость? Нет ее на свете!

Теперь Стеша уже не ждала – Федор не придет к ней с повинной головой, – но она еще надеялась встретиться с ним. Один раз столкнулись. Но Федор шел в компании. Он вспыхнул и глухо, с трудом выдавил: «Здравствуй». Стеша не ответила, прошла мимо. Всю дорогу она злобно сжимала кулаки под платком. На этот раз лютовала в душе не на мужа, а на всех, на колхоз, на людей: «Их стыдится... Ведь из-за них вся и беда-то. Люди чужие ему дороже родни. Они видят это, потому и нянчатся. Нет чтобы отвернулись все. Где же справедливость?»

Прошла осень, выпал первый снег, и Федор надолго уехал из Сухоблинова в МТС. Ждать уж нечего. Скоро появится ребенок. Что ж, так, видно, и оставаться – ни девкой, ни вдовой, просто брошенная жена.

Отец ее, Силантий Петрович, угрюмо молчал. Обычно суровый, он стал мягче: когда Стеша плакала, успокаивал по-своему:

– Ничего, поплачь, не вредно, легче будет... Жизнь-то у тебя не сегодня кончается, будет и на твоей улице праздник. За нас держись, мы нечужие. Переживем как-нибудь.

Мать плакала вместе со Стешей и твердила по-разному. Иногда она заявляла: «В суд надо подать. Через суд могут заставить вернуться. Мало ли что платить, мол, будет. Деньгами-то стыдобушку не окупишь. Да и деньги-то – тьфу! Велики ли они у него?» В другой раз уговаривала: «Брось ты, лапушка, брось убиваться. Обожди, красота вернется, расцветешь, как маков цветочек, другого найдешь, получше, не чета такому вахлаку. А уж его-то не оставим в покое, он за ребенка отдаст свое».

Сама же Стеша решила на такое, что никак не могло прийти в голову ни отцу, ни матери. Раньше не было нужды, и она совсем забыла о комсомоле, теперь она о нем вспомнила. По санному первопутку, провожаемая наставлениями матери: «Ты про Варвару-то не забудь, обскажи про нее, она его подбивает» – и коротким замечанием отца: «Что ж, попробуй», – Стеша отправилась на попутной подводе в райком комсомола.

Кабинет комсомольского секретаря был не только чист и уютен, в нем чувствовалась женская рука хозяйки. Цветы на подоконниках были не официальные кабинетные цветы, чахлые и поломанные, удобренные торчащими окурками, а пышные, высокие, вываливающие буйную зелень за край горшков. Под томиками сочинений Сталина подстелена белая салфеточка, рядом с казенным чернильным прибором – фарфоровая безделушка: заяц с черными бусинками глаз.

Сама хозяйка, секретарь райкома Нина Глазычева, пышноволосяя, с длинными тонкими пальцами белых рук, на молодом лице меж бровей какая-то решительная, начальственная складочка, предложила Стеше стул негромко и вежливо:

– Садитесь. Я вас слушаю.

Стеша начала рассказывать, крепилась, крепилась и не выдержала участливых глаз секретаря, расплакалась. Нина торопливо налила в стакан воды, но тоном мягкого приказа произнесла:

– Продолжайте.

– Родители мои ему не нравятся почему-то. «Уходи, – говорит, – из дому, забудь родителей, буду с тобой жить».

– Родителей забыть?.. Так, так, слушаю.

– А ведь ребенок будет. Считанные дни донашиваю. Сами посудите – из дому-то родного на казенную квартиру, у обоих ни кола ни двора... Да и няньку нужно нанимать... Председатель нашего колхоза настраивает его: «Брось жену...» Зачем это ей понадобилось, ума не приложу. Завидует чему-то... – Стеша сквозь слезы горестно смотрела на фарфорового зайчонка.

– Бе-зо-бразие! – Толстый карандаш в тонких прозрачных пальцах комсомольского секретаря сделал решительный росчерк на бумаге.

Да и как не возмущаться? Пришел человек за помощью, не может сдержать слез от горя, лицо худое, пятнистое, платье обтягивает огромный живот... Ведь мать будущая! Бросить в таком положении! Ужасно!

– Очень хорошо, что вы пришли. Не плачьте, не волнуйтесь, все уладим.

Соловейков Федор! Лучший бригадир в МТС! Непостижимо!

Как больную, осторожно под локоть проводила секретарь райкома Стешу. Та плакала и от горя, и от того, что на нее глядят так жалостливо, и, быть может, от благодарности.

– Спасибо вам. Человеческое слово только от вас услышала. Заплеванная хожу по селу.

– Бе-зо-бразие! В наше время – и такая дикость! Все сделаем, все, что можем. Прошу вас, успокойтесь, товарищ Соловейкова.

Оставшись одна, Нина Глазычева сразу же подошла к телефону.

– МТС дайте!.. Секретаря комсомольской организации... Журавлев, ты? Сейчас вместе с Соловейковым – ко мне!.. Все бросайте, слышать ничего не хочу! Жду! – Она резко опустила на телефон трубку. – Безобразие!

Нина Глазычева считала Федора Соловейкова виноватым уже только за то, что тот втоптал в грязь самые чистые из человеческих отношений – любовь, за одно это можно считать преступником перед комсомольской совестью! А он еще бросил жену беременной!..

Сама Нина вот уже два года переписывалась с одним лейтенантом, служащим на Курильских островах, посылала ему вместо подарков книги. На каждой книге по титульному листу четким почерком делала надпись вроде: «Жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее надо так...» Надписи были красивые и гордые по смыслу, но широко известные. В подходящих случаях молодежные газеты их печатают особняком или цитируют в передовых статьях. От себя же Нина добавляла к ним всегда одно и то же: «Помни эти слова, Витя». Беда только – в последнее время Витя стал отвечать на письма далеко не так часто, как прежде.

18

Казалось бы, все просто: раз решил и решил окончательно – порвать с домом Ряшкиных, раз понял, что жить под одной крышей с Силантием Петровичем и Алевтиной Ивановной нельзя, раз убедился, что Стеша не та жена, обманулся в ней, так что ж мучиться? Порвал, кончил и забыл!

Но забыть не мог Федор.

По ночам, когда он ворочался с боку на бок, не мог заснуть, отчетливо вспоминалась Стеша – вздернутая вверх юбка на животе, красное, перекошенное лицо, темные от ненависти глаза; вспоминал, как она, упав коленями на землю, выламывала из его рук свои руки, лезла к лицу. Она плюнула, кричала, обзывала, и все это при людях, а он не чувствовал к ней обиды. Да и как тут обижаться? Она живой человек, мечтала, счастья ждала, и вот тебе счастье – оставайся без мужа да с брюхом.

И жалко, и жалеть нельзя. Идти обратно, молчать, отворачиваться, бояться вздохнуть полной грудью?.. Нет! Кончил! Порвал! Это твердо.

Что же делать? Хотел Федор уехать подальше, в незнакомые края, к новым людям. Жил бы на стороне, посылал деньги... Но тетка Варвара всюду поспела. Сам председатель райисполкома вызывал, спрашивал:

– Уходишь с работы? А что за причина?

«Что за причина!» Этот вопрос задавали все, а Федор на него не мог и не хотел отвечать. Пришлось бы объяснять, почему бросил жену, пришлось бы выносить сор из избы... Волей-неволей остался на прежнем месте, в мастерских.

Чижев, тетка Варвара, другие знакомые Федора старались не заговаривать с ним о жене. Они понимали – больно! Незачем тревожить.

Чувствуя недоброе, вместе с механиком Аркадием Журавлевым, комсомольским секретарем МТС, Федор пришел в райком. Нина Глазычева сумрачным кивком головы указала на стулья, разговор начала не сразу, долго листала какие-то бумаги – давала время приглядеться, понять ее настроение.

Наконец она подняла взгляд на Федора.

– Товарищ Соловейков!.. – Сделала паузу. – Всего каких-нибудь полчаса тому назад на том стуле, который вы занимаете, сидела ваша жена.

Недобрый взгляд, молчание. Федор не пошевелился, лишь потемнел лицом.

– Покинутая жена! Беременная! Вся в слезах! Не помнящая себя от горя!.. Что ж вы молчите? Что же вы боитесь поднять глаза?

Федор продолжал молчать, глаз не поднял, не шевельнулся.

– Вам стыдно? Но я как комсомольца вас спрашиваю: что за причины заставили пойти на такой низкий поступок?.. Не считайте это личным делом. Вопросы быта – вопросы общественные! Я вас слушаю... Я слушаю вас!

– Это долго рассказывать.

– Я готова слушать хоть до утра, лишь бы помочь вашей жене и вам освободиться от пережитков.

Легкая испарина выступила на лбу Федора. Надо бы рассказать все, как встретились, как понравилась Стеша – голубое платье, нежная ямка под горлом, рассказать, как хорошо и покойно начинали жить, когда Стеша подходила к нему с разруганным от печного жара лицом, рассказать про отца ее, про незаконно взятую лошадь, про зайчонка, про козу, «пощипавшую огурчики»... Но разве все расскажешь? Где тут самое важное?

– Семья у них нехорошая, – произнес он.

– Чем же нехороши?

– Живут в колхозе, а колхоз не любят. Тяжело жить с такими, когда только и слышишь: «Отношения к людям нету, благодарности никакой», а сами в стороне живут. Бородавкой отца-то Стеши зовут по селу, меня – бородавкин зять. Обидно.

– Из-за этого-то надо бросать жену с ребенком? Вы должны перевоспитать и жену, и отца ее, и мать – всех! Они сразу обязаны были почувствовать, что в их семью вошел комсомолец!

– Это сказать просто. Да разве перевоспитаешь... – возразил было Федор и тут же пожалел, что возразил.

Секретарь райкома развела руками.

– Ну уж... самое позорное, что можно представить, – это расписаться в собственном бессилии. Вы пробовали их перевоспитывать? Наверняка нет!

Что тут говорить, что тут спорить? Тетка Варвара хорошо знает Силана Ряшкина, так она и без объяснений понимает Федора. Эту бы голосистую сунуть в ряшкинский дом! Пусть бы попробовала перевоспитать Силана Бородавку.

– Молчите? Сказать нечего? Ваша жена не комсомолка. Одно это говорит о вашем безразличии к жене. Я пригляделась сейчас – простая девушка, чистосердечная, наверно, неглупая, из такой можно сделать комсомолку.

– Она была комсомолкой. Четыре года назад, да механически выбыла. Что ж райком тогда из нее настоящую комсомолку не сделал?

– Вот как!.. Не знала... Но не вам упрекать райком. В районе около тысячи комсомольцев, работники райкома не могут заниматься воспитанием каждого в отдельности. Такие, как вы, должны помогать нам воспитывать. Вы помогаете?.. Бросили беременную! Преступление вместо помощи! Помните, что говорил товарищ Ленин о коммунистической морали?..

Федору уже больше не пришлось возражать он только слушал. Нина Глазычева упомянула и о Ленине, и о словах Горького, что человек – звучит гордо, и о том, как умел любить Николай Островский, и даже о декабристах, чьи жены добровольно уехали в ссылку за мужьями. У Нины выходило так, что и декабристы умели воспитывать жен.

Выговорив все, что могла, Федору, Нина повернулась в сторону притихшего в уголке Аркадия Журавлева.

– Ты секретарь комсомольской организации, ты куда глядел? Ты должен или не должен знать о быте своих комсомольцев? Почему ты не сигнализировал в райком?..

Аркадий Журавлев, рослый парень, добряк в душе, много слышавший от трактористов о семейных делах Федора, сейчас молчал. Он сильно робел перед речистой Ниной, особенно когда та расходилась и начинала вспоминать классиков марксизма, знаменитых писателей.

Где уж тут возражать, переждать бы только...

– Так вот! – Нина в знак окончания разговора энергично положила на стекло стола узкую ладонь. – Вскрылось дело, недостойное звания комсомольца! Мы вынуждены будем рассмат-

ривать его на бюро. Даю перед бюро десять дней сроку. Советую, товарищ Соловейков, подумать за это время о своем поступке!

...Недалеко от МТС Федор снимал холостяцкую комнатенку. Он шел один.

Журавлев с ним расстался у дверей райкома; прощаясь, глядел в сторону, сказал только одно:

– Оно, видишь, как обернулось. Нехорошо.

Нехорошо обернулось. Федор был старым комсомольцем – двадцать пять лет, пора бы и в партию. Взысканий не было, на работе хвалили, поручения выполнял, а на поверку оказался плохим комсомольцем. Может, и верно, но как быть тут хорошим? Воспитывать, говорит... Много она тут наговорила, даже декабристов вспомнула, а как воспитывать, не сказала. Воспитывай – и точка!

Бюро будет, вслух заговорят, пойдет слава по району, думал: пережил, перетерпел, кончилось страшное-то, а оно, самое страшное, еще впереди. Нехорошо обернулось, хуже и не придумаешь.

Ранние зимние сумерки поднимались над домами и садами. Падал редкий снежок. Тихо и пусто. Огни зажигались в окнах, что ни огонек, то семья. Потому и тихо, потому и пусто на улице – все разошлись по этим огонькам. У всех семьи, у каждого свое гнездышко. Иди, Федор, к себе. Там голый стол, на столе приемник, койка в углу. Случается, и в двадцать пять лет человек чувствует себя сиротой.

19

За последний месяц Стеша почти не выходила из дому. Раньше хоть бегала на маслозавод, а тут – декретный отпуск... Четыре стены, даже кусок двора не всегда увидишь в окно, заросли стекла зимними узорами. Вчера с утра до вечера перебирала в уме тяжелые мысли. Все, казалось, передумала, больше некуда – растравила душу. Но наступал новый день – и снова те же мысли...

День за днем – нет конца, нет от них покоя...

И вот крелящиеся на раскатах сани, суховатый запах сена на морозном воздухе, замеченные по грудки снегом еловые перелесочки да радостное воспоминание о встрече в райкоме комсомола, добрые глаза, участливый голос – словно умытая, освеженная, приехала Стеша домой.

На полу валялись щепы и стружки. Посреди избы стояли громоздкие, недоделанные сани. От них шел горьковатый запах черемухи. Отец, держа топор за обух, старательно отесывал наклейки. Он делал сани и занимался этим нечасто. С заказчиками, приезжавшими из дальних колхозов, договаривался заранее – не болтать лишка. Засадит еще Варвара на постоянную работу. Он будет делать, колхоз перепродавать на сторону, а платить трудоднями – велика ли выгода? Силантий Петрович только поглядел на вошедшую дочь, ничего не спросил, продолжал отбрасывать из-под остро отточенного топора тонкие стружки.

Зато мать сразу набросилась:

– Как, милая? Чего сказали?

Стеша, не снимая шубы, распустив платок, уселась на лавку и окрепшим от надежды голосом стала рассказывать все по порядку: как встретили, как ласково разговаривали, как проводили чуть ли не под ручку.

Алевтина Ивановна с радостным торжеством перебивала:

– Вот прижгут его, молодчика! Прижгут! Поделом!

Силантий Петрович бросил скупой:

– Пустое. Особо-то не надейся. Все они одним миром мазаны.

Может быть, первый раз в жизни Стеше не понравились слова отца, даже сам он в эту минуту показался ей неприятен: сутуловатый, со слежавшимися седыми волосами, угрюмо нависшим носом над узловатыми руками, зажавшими обух топора. «И чего это он?.. Все на свете для него плохо. Есть же и хорошие люди. Есть!»

– Может, и не пустое. Может, и прижгут, – неуверенно возразила мать.

– Ну и прижгут, ну посовестят, может, наказание какое придумают, а Стешке-то от этого какая выгода?

И Алевтина Ивановна замолчала. Молчала и Стеша. Маленькая, теплая радость, которую она привезла с собой, потухла.

«Десять дней сроку. Советую подумать о своем поступке». Не стоило советовать... Только в редкие минуты на работе забывался, а так с утра до вечера все думал, думал и думал. А придумать ничего не мог.

Сначала обсуждали план культурно-массовой работы на квартал, потом утверждали списки агитбригад, рассылаемых по колхозам. Федор сидел в стороне, ждал и мучился: «Скорей бы, чего уж жили тянуть...» Наконец Нина Глазычева, сменив деловито-озабоченное выражение на строго отчужденное, громко произнесла:

– Переходим к разбору персонального дела комсомольца Федора Соловейкова.

И все лица присутствовавших вслед за Ниной выразили тоже строгость и отчуждение. Только Степа Рукавков, секретарь комсомольской организации колхоза «Верный путь», одной из самых больших в районе, взглянул на Федора с лукавым укором: «Эх, друг, до бюро дотянул...» Да еще учитель физики в средней школе Лев Захарович, свесив по щекам прямые длинные волосы, сидел, уставившись очками в стол.

– Ко мне недавно пришла жена Соловейкова... – начала докладывать Нина размеренным голосом, один тон которого говорил: «Я ни на чьей стороне, но послушайте факты...»

От этого голоса лица сидевших сделались еще строже.

Ирочка Москвина, зоотехник из райсельхозотдела, член бюро, не вытерпела, обронила:

– Возмутительно!

Нина деловито рассказала, какой вид имела Стеша, описала заплаканные глаза, дрожащий голос, сообщила, на каком месяце беременности оставил ее Федор...

– Вот коротко суть дела, – окончила Нина и повернулась к Федору: – Товарищ Соловейков, что вы скажете членам бюро? Мы вас слушаем.

Федор поднялся.

«Суть дела»! Но ведь в этом деле сути-то две: одна его, Федора, другая – Стеши, тестя да тещи. Не его, а их суть сказала сейчас Нина.

Разглядывая носки валенок, Федор долго молчал: «Нет, всего не расскажешь... У Стеши-то вся беда как на ладони, ее проще заметить...»

– Вот вы мне подумать наказывали, – глуховато обратился он к Нине. – Я думал... Назад не вернусь. Как воспитывать, не знаю. Пусть Стеша переедет жить ко мне, тогда, может, буду ее воспитывать. Другого не придумаю... С открытой душой говорю... – Он помолчал, вздохнул и, не взглянув ни на кого, сел. – Все... – Снова сгорбился на стуле.

– Разрешите мне, – вкрадчиво попросил слова Степа Рукавков и тут же с грозным видом повернулся к Федору: – Перед тобой была трудность. Как ты с ней боролся? Хлопнул дверью – и до свидания! По-комсомольски ты поступил? Нет, не по-комсомольски! Позорный факт!.. Но товарищи...

Нина Глазычева сразу же насторожилась. Она хорошо знала Степу Рукавкова. Ежели он начинает свою речь за здоровье, хвалит, перечисляет достоинства, жди – кончит непременно за упокой, и наоборот – грозный разнос вначале обещает полнейшее оправдание в конце. Как в том, так и в другом случае переход совершается с помощью одних и тех же слов: «Но товарищи...» Сейчас Степа начал с разноса, и Нина насторожилась.

– Но, товарищи! Жена Соловейкова, как сообщили, была комсомолкой. Она бросила комсомол! Кто в этом виноват? А виноват и райком, и мы, старые комсомолыцы, и она сама в первую очередь!..

Степа Рукавков был мал ростом, рыжеват, по лицу веснушки, но в колхозе многие девочки заглядывались на своего секретаря. Степа умел держаться, умел говорить веско, уверенно, слова свои подчеркивал размашистыми жестами.

– Нельзя валить все на Соловейкова. А тут – все, кучей!.. Виноват он, верно! Но не так уж велика вина его. Я предлагаю ограничиться вынесением на вид Федору Соловейкову.

– Невелика вина? Жену бросил! На вид! Простить, значит! Как это понимать? – Нина Глазычева от возмущения даже поднялась со стула.

– Исключить мало, – вставила Ирочка Москвина и покраснела смущенно. Она была самой молодой из членов бюро и всегда боялась, как бы не сказать не то, что думает Нина.

Поднялся спор: дать ли строгий, просто выговор или обойтись вынесением на вид? Федор сутулился на стуле и безучастно слушал.

– Не в том дело! – Учитель физики Лев Захарович давно уже поглядывал на спорящих сердито из-под очков. – Дадим выговор, строгий или простой, запишем... Это легко... У жены его – горе, у него – поглядите – тоже горе! А мы директивой надеемся вылечить.

Закидывая назад рукой волосы, Лев Захарович говорил негромким, спокойным голосом. Паренек он был тихий, выступал нечасто, но если уж начинал говорить, все прислушивались – обязательно скажет новое. Да и знал он больше других: читал лекции в Доме культуры о радиолокации, мог рассказать и об атомном распаде, и об экране стереоскопического кино. За эти знания его и уважали.

– Для чего мы собрались здесь? Только для того чтобы выговор вынести?.. Помочь собрались человеку.

– Правильно! Помочь! – бодро поддержала Нина.

– Только как? Вот вопрос, – спросил Лев Захарович. – Я, например, откровенно признаюсь – не знаю.

– Товарищ Соловейков, – обратилась Нина к Федору, – вы должны сказать: какую помощь вам нужно? Поможем!

– Помощь?.. – Федор растерянно оглянулся. Действительно, какую помощь? Стешу бы вытащить из отцовского дома. Но ведь райком комсомола ей не прикажет: брось родителей, переезжай к мужу, – а если и прикажет, Стеша не послушает. – Не знаю, – подавленно развел руками Федор.

Все молчали. Нина недовольно отвела взгляд от Федора: «Даже тут потребовать не может».

– Не знаем, как помочь, – продолжал Лев Захарович. – А раз не знаем, то и спор – дать выговор или поставить на вид – ни к чему.

– Выходит, оставить поступок Соловейкова без последствий?

Лев Захарович пожал плечами.

– А дадим выговор – разве от этого последствия будут? Как было, так все и останется.

И тут Нина горячо заговорила. Она заговорила о том, что Лев Захарович неправильно понимает задачи бюро райкома, что выговор, вынесенный Соловейкову, будет предостережением для других... Говорила она долго, упоминала, как всегда, примеры из литературы, из жизни великих людей. После ее выступления снова разгорелся спор – вынести выговор или поставить на вид? Лев Захарович сердито молчал.

Вынесли выговор.

На улице Федора догнал Степа Рукавков. В аккуратном, с выпущками полушубке, в мерлушковой шапке – щеголь-парень, не зря считается у себя в колхозе первым ухажером.

– Если б физик не вмешался, отстояли бы, – дружески заговорил он. – Поставили б на вид – и точка! И голова у человека умная, и сердце доброе, но не политик...

По снисходительному выражению лица Степы нетрудно было догадаться, что он считает, если и есть при райкоме комсомола политик, то это не кто иной, как он, Степа.

Федор махнул рукой.

– Выговор, на вид – все одно не легче. Вы-то поговорили сейчас, а завтра забудете. Чужую-то беду, говорят, руками разведу.

– О-о! – протянул удивленно Степа. – Да ты еще обижаешься. Тогда верно тебе дали выговор. Верно!..

20

Однажды он долго задержался в МТС, задержался не потому, что было много работы, просто оставаться одному с невеселыми мыслями в четырех стенах тяжело.

Подходил к дому поздно. У ограды стояла лошадь, запряженная в сани-розвальни. В комнате Федора, подле печки, дотлевающей багрянистыми углями, сидел с хозяином дед Игнат, муж тетки Варвары.

– Долгонько кумовал где-то, долгонько, – встретил Игнат Федора. – Ночью мне придется до родного угла-то добираться.

– Нужда во мне какая-нибудь?

– Мое-то домашнее начальство одно дело поручило... – Игнат повернулся к хозяину и по-свойски (видать, ожидая, успел сойтись душа в душу) попросил: – Трофимуш-ка, ты иди к себе, нам промеж собой посекретничать охота.

– Что ж, секретничайте, секретничайте, только печку не прозевайте, закрывать скоро.

Хозяин вышел. Дед Игнат повернулся к Федору.

– Сегодня мы вместе с Силаном жинку твою в больницу сдали. Вот какое дело.

– Что?

– Что, что! Ничего, видать, кроме дитя, не будет. Не ждал разве?... Моя-то известить тебя велела. «Силан-то, говорит, и один бы справился, да к тебе он не зайдет».

– Когда привезли?

– Еще днем, после обеда.

– Может, уже родила?

– Не знаю. Дело такое, для нас с тобой непостижимое.

Федор надвинул мокрую от растаявшего снега шапку.

– Я пойду, Игнат, я пойду... Что ж ты на работу-то ко мне?..

Последние слова он проговорил за дверь.

Игнат, покачивая головой, стал одеваться. Одевшись, вспомнил про печь, подставил стул, кряхтя, влез, задвинул заслонку и позвал:

– Трофим, эй, Трофим! Сегодняшнюю ночь ты не держи дверь на запоре. Чуешь?... Парень греться домой набегать будет.

Сначала Федор шел размашистым шагом, потом быстрее, быстрее, почти побежал.

Что заставляло его бежать? Что заставляло его тревожиться? Вроде забыта уже любовь к Стеше. Сколько в последнее время несчастий, сколько больших и маленьких переживаний свалилось на него! То, что прежде было, должно было похорониться, заглухнуть, как вересковый куст под осыпью. Может, любовь к ребенку заставляет его тревожиться? Но он пока не знает ребенка, совсем даже не представляет его. Нельзя любить то, что не можешь себе представить... Неужели не все заглухло, кое-что пробилось – живет?

Больничный городок находился в стороне от села, среди большой липовой рощи. Федор уже добежал до широких ворот, ведущих к корпусам, и остановился.

Несется сломя голову, а зачем?... Поздравить? Больно нужны Стеше его поздравления. Порадоваться?... Еще кто знает, как все это обернется – радостью или горшим горем? Но повернуться, идти домой, лечь там, спокойно заснуть, он не может. Жена рожает! Тут вспомнилось, что в таких случаях обычно приносят цветы и подарки. Он-то с пустыми руками явится: нате – я сам тут. Купить что-то надо.

Федор повернул обратно.

Магазин, прозванный в обиходе «дежуркой», где с шести часов вечера до полуночи стояла за прилавком известная всем в районе Павла Павловна, суровая тетушка с двойным подбородком, в поздние часы служил одновременно и промежуточной станцией для проезжих шоферов, где можно выпить и закусить, побеседовать и прихватить случайного пассажира.

– Федька! – От прилавка шагнул к Федору человек – из-под шапки в тугих бараньих колечках чуб, красное, огрубевшее на морозах и ветрах лицо, веселые глаза.

Знакомый Федору шофер из хромцовского колхоза, Вася Золота-дорога, схватил руку и стал трясти.

– Матушка, Пал Пална, сними с полочки еще мерзавчик, друга встретил!

– Вася!.. Рад бы!.. Рад! Некогда!

– Федор! От кого слышу? Год же не видались, золота-дорога!

– Жена рожает в больнице. Купить заскочил гостинцев.

– Во-о-он что-о!.. Как раз бы нужно отметить... Ну, ну, молчу. Поздравляю, брат! Дай лапу!.. Тут и друга, и самого себя забыть можно... Сына, Федор, сына!.. Может, все ж за сына-то на ходу... А? Ну, ну, понимаю... Эх, как ты нас обскакал! А я вот целуюсь только еще жениться.

Вася шумно радовался, все остальные, пока Федор покупал конфеты и покоробленные от долгого лежания плитки шоколада, относились к нему с молчаливым уважением.

– Уехал и пропал! Ни слуху о тебе, ни духу! Сгинул... Эх, задержаться бы да отпраздновать! Чтоб стон стоял, золота-дорога! Съест меня живьем наш Поликарпыч, коль с концентратами застряну. Но я ребятам свезу весточку – у Федьки Соловейкова наследник! Спешись, вижу... Спеш, спеш, не держу. Дай, еще лапу пожму!

Прежде было только тревожно и смутно на душе. Сейчас, после шумной Васиной встречи, тревога осталась, но появились радость и надежда. Как он был глуп! Что-то мудрил, над чем-то ломал голову, мучился, а все просто: рождается ребенок, он – отец, он имеет право требовать от Стешы переехать к нему! Добьется!.. Страшного нет!..

Федор бежал по пустынным улицам к больничному городку.

В приемной родильного отделения сидел только один уже немолодой мужчина, из служащих, в добротном пальто, в высокой, под мерлушку, шапке. У Федора от быстрой ходьбы, от напряженного ожидания чего-то большого тяжело стучало сердце. Почему-то представлялось, что, едва только он войдет, все засуетятся, забегают вокруг него. А этот единственный человек в пустой, чистой, ярко освещенной комнатке взглянул на него с самым спокойным добродушием.

– Первый раз? – спросил он.

– Что? – не сразу понял Федор.

– Я спрашиваю: первый раз жена рожает?

– Первый, – ответил со вздохом Федор. Он сразу же подчинился настроению этого человека.

– Видно. А я каждый год сюда заглядываю. Четвертый у меня.

Дежурная сестра вынесла вещи – пальто, шаль, фетровые ботики.

– Получите.

Незнакомец принял все это, не торопясь уложил, связал аккуратно.

– Привел жену – узелок взамен дали. До свидания... Не волнуйтесь. Обычное дело. Вам бы кого хотелось – сына или дочь?

– Сына, конечно.

– Значит, дочь появится.

– Почему?

– По опыту знаю. Девочек больше люблю, а каждый год – промах, мальчики появляются. Но и это неплохо. Народ горластый, не заскучаешь.

Еще раз ласково кивнув, он ушел. Сестра, закрыв за ним плотнее дверь, деловито спросила:

– Как фамилия?

– Соловейков... Федор Соловейков.

– Федоры у нас не рожают. Муж Степаниды Соловейковой, что ли? Эту сегодня положили... Передачу принесли, давайте мне... В целости получит.

– Не родила еще?

– Больно скоро. Идите, идите домой. Спите спокойно. Сообщим.

– Я подожду.

– Нет уж, идите. Может, трое суток ждать придется. Дело такое – ни поторопишь, ни придержишь.

Федор долго топтался под освещенными окнами родильной, прислушивался, не донесется ли сквозь двойные рамы крик Стеши. Но лишь робко скрипел снег под его валенками.

За ночь он несколько раз прибежал под эти окна, ходил вдоль стены. Было морозно, временами начинал сыпаться мелкий, сухой снежок, а Федору в мыслях представлялось солнечное летнее утро, луг, матовый от росы, цепочкой два темных следа – один от ног Федора, другой от ног сына... Они идут на рыбалку с удочками... И росяной луг, и следы на мокрой траве, и берег реки с ключьями запутавшегося в кустах тумана – все отчетливо представлял Федор. Не мог представить только самое главное – сына. Белоголовый, длинное удилище на плече, и все... Мало...

Он промерзал до костей, бежал домой, там, не зажигая огня, не раздеваясь, сидел, грелся, думал о сыне, о росянном луге, о следах, временами удивлялся, что хозяин крепко спит, а двери не запирают. Забыли, видать, это на руку – не будить, не беспокоить...

Ночь не спал, но на работе усталости не чувствовал, через час бегал к телефону, с тревожным лицом справлялся и отходил разочарованный.

Стеша родила под вечер.

Погода разгулялась. Вокруг полной луны стили мутноватые круги. Федор шел, топча на укатанной дороге свою тень. Шел нараспашку, мороза не чувствовал.

Лицом к лицу он неожиданно столкнулся с человеком в серой мерлушковой шапке и, как старому другу, раскрыл объятия.

– А ведь правду говорили... Не сын, нет... Дочка!.. Уж я там поругался, до начальства дошел, уж настоял... Пустили, показали.

Он нагнулся к улыбающемуся доброй улыбкой лицу незнакомца и, как великое открытие, сообщил:

– Гляжу, а волосики-то рыженькие! Рыженькие волосики-то! И глаза!.. Глаза – не понять, должно быть, мои тоже. Наша порода!.. Соловейковская!

21

Во время приступов Стеша металась по койке и кричала: «Не хочу! Не хочу!» Врачи и сестры, привычные к воплям, не обращали внимания. Они по-своему понимали выкрики Стеши: «Больно, не хочу мучиться!» Но Стеша кричала не только от боли. «Не хочу! Не хочу!» – относилось к ребенку. Зачем он ей, брошенной мужем? Но принесли тугой сверточек. Из белоснежной простыни выглядывало воспаленное личико. Положили на кровать Стеше.

При этом врачи, сестры, даже соседка по койке – все улыбались, все поздравляли, у всех были добрые лица. На свет появился новый человек, трудно оставаться равнодушным.

Горячий маленький рот припал к соску, до боли странное и приятное ощущение двинувшегося в груди молока, – Стеша пододвинулась поближе, осторожно обняла ребенка, и крупные слезы снова потекли по лицу. Это были и слезы облегчения, и слезы стыда за свои прежние нехорошие мысли: «Не хочу ребенка»; это были и слезы счастья, слезы жалости к себе, к новому человеку, теплому, живому комочку, доверчиво припавшему к ее груди... И все перевернулось с горя на радость.

Во время второго кормления, когда Стеша, затаив дыхание, разглядывала сморщенную щечку, красное крошечное ухо, редкий пушок на затылке дочери, она почувствовала, что кто-то стоит рядом и пристально ее разглядывает. Она подняла голову. Перед ней замер с выражением изумления и страха Федор.

Они не поздоровались, просто Федор присел рядом, с минуту томительно и тревожно молчал, потом спросил:

– Может, нужно чего?.. Я вот яблок достал... – И, видя, что Стеша не сердится, широко и облегченно улыбнулся. – Вот она какая... Дочь, значит. Хорошо.

И Стеша не возразила, – конечно, хорошо.

– Спит все время. Сосет, сосет, глядишь – уже спит.

Федор сидел недолго. Весь разговор вертелся вокруг дочери: сколько весит, что надо купить ей – пеленки, распашоночки, обязательно ватное одеяльце.

Им мешали, напоминали Федору, что он обещал на одну минуточку, сидит уже четверть часа. Федор поднялся и тут только ласково и твердо сказал:

– Никуда я тебя, Стеша, не пушу. Ко мне жить переедешь.

И почему-то в эту минуту Стеше показалось, что он даже парнем ей не нравился так – в белом, не по его плечам халате, длинные руки вылезают из рукавов, лицо озабоченное... Стеша осмелилась робко возразить:

– С ребенком-то дома бы лучше, Феденька.

Но голос Стеши был неуверенный, просящий.

На следующий день приехала мать. Стеша, похудевшая, большеглазая, с растрепанными волосами, стыдливо запахиваясь в халат, тайком выскочила к ней в приемную.

– Вот она, наша долюшка... Прогневили мы Бога-то... – завела было Алевтина Ивановна, но тут же перебила себя, сразу же заговорила деловито: – Все, что надобно, приготовила: пеленочек семь штук пошила, исподнички разные, отец люльку уже пристроил...

– Мама, – робко перебила Стеша, – я все ж к нему перейду... Зовет.

– Совесть, видать, тревожит его, а на то не хватает, чтоб повинился да пристраивался сызнова к нам.

– К нам не вернется... – И вдруг Стеша упала на плечо матери, зарыдала. – Да как же мне жить-то с ребенком без мужа? Все пальцами тыкать будут!..

– Это что такое? Кто разрешил? Что сестры смотрят? Лежать! Лежать! Не подниматься!.. Кому говорят! Идите в палату! – В дверях стояла пожилая женщина, дежурный врач родильного отделения.

Мать гладила Стешу по спутанным волосам.

– Не расстраивайся, дитяtko, не тревожь себя... Иди-ка, иди. Вон начальница недвольна...

...Утро было с легким морозцем. Ночью выпал снежок, и село казалось умытым. Мягкий свет исходил от всего – от крыш, дороги, сугробов, тяжело навалившихся на хилые ограды. И воздух тоже казался умытым, до того он свеж и легок. Во всех домах топились печи. По белым улочкам в свежем воздухе разносился вкусный запах печеного хлеба. Мир и благополучие окружали маленькую семью, неторопливо двигавшуюся от больницы к дому.

Кроватки Федор не успел купить, постель дочери устроили пока на составленных стульях. И Федор чувствовал себя виноватым, оправдывался перед Стешей.

– Ведь жить-то только начинаем, не мы одни, все так сначала-то... Все будет – и квартира, и, может, домик свой, хозяйством еще обзаведемся. Как хорошо-то заживем!

Стеша со всем соглашалась, ни на что не жаловалась.

В тот же день они назвали дочь Ольгой.

А поутру пришел первый гость. Гость не к Федору и не к Стеше. Раздался стук в дверь, через порог перешагнула девушка, стряхнула перчаткой снег с воротника.

– Здравствуйте. Здесь живет Ольга Соловейкова?

Федор и Стеша даже растерялись, не сразу ответили.

– Да, здесь живет...

Всего десять дней, как она появилась на свет и имя свое, Ольга, получила только вчера, вчера только принесли ее в эту комнату.

– Здесь живет, проходите, пожалуйста.

Девушка сняла пальто, достала из чемоданчика белый халат, попросила теплой воды, вымыла руки.

– А кроватку надо приобрести обязательно.

Детский врач долго сидела со Стешей, еще раз напоминала ей, как надо и в какой воде купать, в какие часы кормить, как пеленать, как присыпать, с какого времени можно вынести на улицу. От приглашения попить чайку отказалась:

– У меня не один ваш пациент.

Это был первый гость. За ней стали приходить гости не по одному на день.

Одной из самых первых приехала тетка Варвара. Она внесла в маленькую комнатку какие-то пахнущие морозом узлы, скинула свой полушубок и долго стояла у порога, потирая руки, говорила баском:

– Обождите, обождите, вот холодок с себя спущу... Уж взглянем, взглянем, что за наследница. Успеется.

Первым делом она принялась развязывать свои узлы.

– Принимай-ко, хозяйюшка, – обращалась она к Стеше, нисколько не смущаясь тем, что та сдержанно молчит. – Это вам подарочек от колхоза: мука белая, масло, мед, мясо. Ты, Федор, жену теперь корми лучше, через нее ребенка кормишь, помни! Степанида, поди сюда... Да брось в молчанки играть. Вот уж теперь-то нам с тобой делить нечего. Уж теперь-то мы должны душа в душу сойтись. Поди сюда. Это от меня. Ситец белый, пять метров. Ты его на пеленки, гляди, не пускай. На пеленки-то старые мужнины рубахи разорви, простирай их, прокипяти... Ей, несмышлешке, все одно что пачкать. Это на распашонки раскрой да на наволочки. С умом берись за хозяйство-то.

Стеша, не привыкшая «ждать добра» от чужих, тем более от тетки Варвары, растерялась сначала, но, когда гостя обратила внимание на составленные стулья и заявила, что сегодня же накажет плотнику Егору делать кроватку, размякла.

Варвара, подойдя к постельке, толстым коротким пальцем повертела перед лицом девочки, та громко расплакалась.

– Уа, уа, – передразнила Варвара, морщась от удовольствия. – Голосистая. Кровь-то, сразу видать, соловейковская. Ряшкины некрикливы – и сердятся и радуются про себя только.

Даже это почему-то не обидело Стешу.

Пришел в гости и Чижов, с тщательно вымытыми руками, побритый, пахнущий тройным одеколоном. Он попросил поддержать завернутую в одеяло Олю. Держал неумело, на вытянутых руках, с улыбкой до ушей, разглядывал, приговаривал:

– Уже человек. Уже человек. А?

Когда Стеша наконец отобрала дочь, он удивился:

– Нетяжела, а руки устали. Почему бы это?

Потом сидели они втроем за семейным столом, пили чай, и Чижов настойчиво отказывался от печенья.

Наконец прибыли Силантий Петрович и Алевтина Ивановна. Федор старался принять их как можно лучше. Сбегал за поллитровкой для тестя, сначала величал их отцом да матерью, но скоро стал неразговорчив. Дед и бабка оказались гостями невеселыми. Силантий Петрович отказался выпить:

– И так запоздались. Варвара три шкуры дерет, коль лошадь ко времени не доставим.

Теща и вовсе не прошла к столу, сидела у порога, чинно поджав губы, смотрела и на дочь и на внучку жалостливо, всем своим видом словно бы говорила: «Не притворяйтесь счастливыми-то, сиротинушки вы...» Она несколько раз пристально оглядела тесную комнатку с развешанными около печи пеленками. На Федора же старалась не смотреть.

То, что было сказано, можно было сказать в пять минут. Но старики честно отсидели полчас, ровно столько, чтоб хозяева не подумали – рано ушли родители-то.

Федору казалось, что эти полчаса он сидел не в своей комнате, а под крышей Ряшкиных. Стеша, как бывало, не поднимала глаз, боялась взглянуть на мужа.

«Запахло опять ряшкинским духом. Сломают нам жизнь, сволочи. Стеша-то и не глядит...» – думал он, скупно отвечая на вялые вопросы тестя о жалованье, о казенной квартире, о том, дадут или нет усадьбу весной.

Но после ухода стариков Стеша оставалась по-прежнему ласковой. Она, кажется, сама рада была, что родители долго не засиделись. И уж совсем неожиданным гостем как для Стеши, так и для Федора была Нина Глазычева, секретарь райкома комсомола.

Она не раздевалась.

– Некогда, некогда, на одну минуточку к вам. Вот видите, как хорошо! Очень хорошо!.. Прекрасная дочь, прекрасная! Вы понимаете только – она человек будущего! Она будет жить при коммунизме!

Стеша, помня ласковый прием в райкоме, после похвал дочери смотрела на Нину благодарными глазами и краснела. Федор тоже краснел и виновато улыбался. Он уже не обижался на Нину.

Нина ушла, довольная Федором, Стешей, дочкой и больше всего собой. Теперь можно заявить: «Нам приходилось сталкиваться с бытовыми вопросами, но со всей ответственностью можем сказать – эти вопросы с честью решались нами!»

Первые, самые первые дни в тесной, холостяцкой комнатке Федора они были счастливы.

Стеша не переставала про себя удивляться: чужие люди приходят, радуются за них, добра желают... Ей в отцовском доме никогда не приходилось видеть такого.

22

Скоро все знакомые привыкли к тому, что у Федора Соловейкова есть дочь.

Гости, поздравления, маленькие подарки (даже Чижов принес погремушку) – все это чем-то смахивало на праздник. И все это скоро кончилось. Началась будничная жизнь, для Стеши новая – впервые вне дома.

Их хозяин Трофим Никитич жил бобылем. Его жена была постоянно в разъездах, гостила то у одного сына, то у другого, а их у Трофима шестеро – все живут в разных концах страны.

Трофим работал столяром в промкомбинате и по своему бобыльскому положению каждую субботу приходил выпивши. При этом он обязательно заглядывал к жильцам. Балансируя на цыпочках, делая страшные глаза в сторону спящей девочки, предупредительно трясая поднятыми руками, он объявлял шепотом:

– Ш-ш... Я тихо, я тихо...

И обязательно цеплялся за что-нибудь – за стул с тазом, за пустое ведро, – будил дочь.

Усаживаясь, он начинал разговор об одном и том же:

– Я вас не гоню. Живите. Разве я совести не имею?

Но по тому, что Трофим говорил «не гоню», по тому, что он разрешал – «живите», Федор и Стеша понимали: жильцы не очень нравятся хозяину. Одно дело – холостой, одинокий парень, другое – семья с ребенком. Пеленки, детский крик, печь топится с утра до вечера, давно уже отвык старый Трофим от всех этих неудобств. И то, что хозяин не упрекал, не ругался, еще больше заставляло чувствовать Стешу связанной по рукам и ногам.

Однажды Федор пришел очень поздно. Стеша не спала, она перед этим всплакнула по дому, видела, как муж собирал себе поужинать. Не понравился он ей в эту минуту. Ест, уши вверх-вниз ходят, и лицо такое, словно счастлив, что дорвался до каши.

– Стеша, – негромко окликнул он. – Слышь, Стеша, что я тебе скажу.

– Ну?

– Деньги нашей МТС большие ассигновали.

– Что за радость, не тебе деньги, а МТС.

– Строиться будем. Целый поселок вокруг МТС планируют. Дома финские привезут. Рассчитывали сейчас: трактористам квартиры, а бригадирам по отдельному домику. Вот как!.. Большие дела! В своем домике будем жить, сад разведем, цветы под окнами...

– А скоро ли это?

– Не сразу Москва строилась. Эх, Стешка! Обожди, встанем на ноги. Дочь подрастет, учиться оба начнем. Я ведь тоже, вроде тебя, среднюю школу не кончил. На курсах да на переподготовках доходил.

– Ладно уж, институтчик, ложись спать, – приказала Стеша ласково.

Прежде чем уснуть, в эту ночь она помечтала немного. Всплыло забытое. Свой дом, свое хозяйство. Не отцовский дом с полатями да лавками, отрывным календарем на стенке. Крашенные полы, коврики по стенам. Встанет утром и, как есть, босая, на огородец. Цветы, говорит, под окном... Ну, это, может, и ни к чему. От цветов сыт не будешь. Огород большой, пасеку обязательно. Утром листья у капусты матовые, тронешь – холодные. Муж, может, на директора МТС выучится, культурный человек! Ее хочет заставить учиться... Зачем? Для дому, для хозяйства, для детей ума хватит. Ой, беспокойная головушка! Ой, трудно с тобой, непутевый мой... Вот ведь забыла, смирилась – не бывать тому, что думалось, ан нет, не узнаешь, где счастье откроется...

23

Пришла мать. Напомнила дом. Как бы ни расписывал муж цветы под окнами, а родной дом не забудешь – береза старая, въезд на повесть с весны травкой зарастает: не раз вспомнишь, быть может, и при хорошей жизни слезу прольешь. Как бы ни дичился Федор ее родителей, а мать останется матерью. Голос ее по утрам: «Спи, касаточка, спи, ласковая», – всегда сердце греть будет.

Стеша не знала, куда усадить мать, чем угостить ее.

– Как муженек-то себя ведет? – прихлебывая чай с блюдечка, поинтересовалась Алевтина Ивановна.

– Хорошо, маменька. Он добрый, старательный.

– Добрый? То-то вижу, от доброты его ты с лица спала.

– Трудно пока на первых-то порах. Но поживем – выправимся. Федор-то обещает: дом дадут в МТС.

– Уж дом. Палат каменных не обещал тебе?

– Запланировано, говорит. Деньги большие им разрешены на стройку... – Стеша принялась рассказывать.

– А ты верь, верь больше. На доверчивых-то воду возят. Не знаешь, что ли? Варвара который год в колхозе масляные да хлебные горы сулит. Не видно их что-то. Обещать-то обещаешь, да и заботушку проявляй о жене. От нас оторвал, к себе перетянул, а нет того, чтоб, пока там строят да налаживают, у нас до поры пожить. Пусть строят, построят – переедете. В родном доме или на стороне жить, где лучше-то? Мы не враги дитю своему, держать на хорошую жизнь не будем. Веришь – он добрый, а ты на себя погляди. Какая ты белая да румяная была, глядеть не наглядеться, а теперь... Горюшко ты мое, кровинушка ты моя родная, на кого ты похожа?.. – Алевтина Ивановна начала сморкаться в конец платка.

Стеша держалась, держалась и тоже заплакала.

– Скворечник на березе нашей мне прошлой ночью снился, мамушка.

– Горькая ты моя! И за что нас Господь Бог через тебя покарал? За какие грехи тяжкие?..

Обе плакали, чай стыл в чашках.

Едва только Федор переступил через порог, Стеша встретила его словами:

– Нет моей силы жить здесь. Домой поеду... погостить... Может, на месяц, может, и больше, сколько проживется.

Не слова, а самый голос, глухой, срывающийся, недобрый, глаза, спрятанные под ресницами, испугали Федора.

– Не могу, Стеша... Обожди, квартиру новую подыщем, няньку найдем. Не пущу тебя домой. Все поломается опять промеж нами. В вашем доме даже воздух заразный. Надышишься ты его – чужой мне будешь.

– Сам ты заразный, сам ты чужой.

Стеша хотела крикнуть, что дома с цветами под окнами, что жизнь легкая – все выдумки, не будет легче. Уж коли хочет добра ей, то пусть не держит – с отцом да с матерью ей удобнее, от добра добра не ищут!.. Не успела крикнуть, проснулась дочь от громкого разговора, заплакала. Стеша бросилась к ней, схватила, прижала, в голос запричитала:

– Как были мы с тобой, Оленька, сиротинушки, так и остались. Отец твой о своей МТС больше думает!

Так воздух дома Ряшкиных, о котором говорил Федор, казалось, появился и здесь. Трудно молчать, но и говорить нельзя. Заговоришь, будет скандал.

...Дома раньше всех, под петушиный перекрик, выходил во двор отец.

Стеша в детстве любила выскакивать за ним в одной рубашонке на крыльцо, поеживаясь от утреннего холодка, поглядывать. У отца в те часы было важное и спокойное лицо. Ходил не торопясь по двору, не торопясь ко всему приглядывался. Вобьет гвоздь в косяк, рукой пощупает – для себя вбит, крепко. Поправит, подопрет колом пошатнувшуюся связь у изгороди, дернет – для себя подпер, на совесть. Плетень, калитка, береза со скворечником, высокое крыльцо – тут деды, прадеды жили, свое место, кровное. Хоть щепку с дороги отбросишь – для себя, не для чужих постарался. Здесь же сенцы грязью заросли, пылица, паутина по стенам... Прибрать бы, но ведь не свое. Чего ради руки ломать, за спасибо от пьяного Трофима? Да и того, поди, не услышишь. Что там сенцы? Комнату прибрать, пол вымыть душа не лежит. Чужое все кругом, не свое, куда попала?..

А свое-то, и дом с коньком, и береза старая, не за морями, не за горами родное гнездо, не по железной дороге ехать – рукой подать. Так что же она тут сидит, мучается? Из-за кого? Из-за мужа, из-за Федора? Да пропади он пропадом, вытащил на убожество, обещает: «Крепись, Стешка, крепись, построятся, выучимся, заживем...» Жди, построятся, строить-то в МТС мастерские начали, а не дома с цветами под окнами...

...Федор, забежав после работы в магазин, купил то, что давно собирался купить: абажур на настольную лампу, стеклянный, снизу белый, как молоко, сверху темно-зеленый, как осенняя озимь.

Надо думать, что Стеша сейчас не обрадуется покупке. Ей нынче не до абажуров. К дому своему, к родной крыше тянется. Молчит, насупилась, комнату запустила, сама ходит растрепой. Ничего, крепись, Федор, в МТС большие дела начинаются. У тихого сельца Кайгородище рабочий поселок вырастет. Пусть Стеша теперь неласкова, пусть недовольна мужем, пусть! Он перетерпит. Придет время, спасибо ему скажет, что в родной дом не пустил. Будет и ласкова, и разговорчива, и опрятна, и красива, лучше не надо жены.

Придет время: возвратится Федор с работы, а в комнате, что в лунную ночь, сумрак от абажура, на столе круг яркий, так и тянет сесть, книгу под свет положить. Сам будет учиться, Стешу заставит. Спасибо скажет.

С покупкой, обернутой в серую бумагу, Федор поднялся по крыльцу, сбил снег с валенок, вошел.

Никого. Кроватка-качалка, присланная Варварой, пуста. Стешин чемодан, большой, черный, фанерный, с висячим замком, стоял раньше в углу. Исчез он. Нет и лоскутного одеяла на большой кровати, оно тоже Стешино. На полу, посреди комнаты, валяется погремушка, подаренная Чижовым.

Федор поставил на стол абажур, сел не раздеваясь.

«Вот тебе и зеленый свет по комнате, вот тебе и учиться заставлю... Уехала... Интересно: свои нарочно приезжали или машина подвернулась?.. Да не все ли равно! Уехала... Теперь уж все. Кланяться к Ряшкиным, просить, чтоб вернулась, не пойду. Пусть попрекают в райкоме комсомола: не умеешь воспитывать. Видать, не умею, что поделаешь...»

И вдруг Федор опомнился и застонал:

– Ведь Ольгу с собой взяла! Нет дочери-то!..

Осень. Под мелким дождем плачут мутные окна.

Лето было дождливое, серенькое. Только в августе выдались безоблачные деньки – небо предосеннее, лиловое, солнце пылающее, косматое, но не жгучее, так себе припекает. В эти-то дни и успели сухоблиновцы – убрали все с полей. Подсчитали: год не из счастливых, а урожай выдался неплохой.

Осень. Плачут окна. В небе темно и тихо. Кошка, спрыгнувшая с печи, заставляет вздрагивать: «Чтоб тебя разорвало!» Спит дочь. Отец с матерью притихли. Тоже спят. Да и что делать в такой вечер. Осень на дворе, глухая осень. Мелко, скучно моросит. Плачут окна.

Стеша устала слезящееся стекло, думает и не думает. Скучно! До боли скучно, хоть плачь. Да и плакала, не помогло – все равно скучно.

А сейчас в селе, в стареньком клубе около правления, горит электричество, собирается народ. Сегодня праздник в колхозе. Урожай нынешний отмечают и пуск тепловой станции. Приглашен известный гармонист Аникушкин из Дарьевского починка. Придет молодежь из всех соседних деревень. Придет и Федор. Он плясун не из последних, ему там почет. Деньги высылают. Дочь, может, и помнит, а жену забыл. Плясать будет, веселиться будет, что ему – дитя не висит на шее, вольный казак... Да и народ его любит, Федором Гавриловичем величает.

И уже тысячный раз Стеша начинает спрашивать себя: чем они не нравятся людям? Не воры, не хапуги, живут, как все, никого не обижают, на чужой кусок не зарятся. В чем же виноваты они перед селом? Не любят их...

– Эх-хе-хе, доченька! Сумерничаешь?

Последовал сладкий зевок. Мать слезла с печи, зашаркала валенками по половицам.

– Дай-кось огонь вздую.

При тусклом свете лампы Стеша видит лицо матери. Оно опухшее от сна, зеленое от несвежего воздуха.

– Электричества направили. Кому так провели, а кому так нет. Кто шибче у правления трется, тому хоть в сенцы не по одной лампочке вешай...

Чувствуется, что ворчание матери скучно даже ей самой.

– Мам? – нехорошим, треснувшим голосом перебивает Стеша.

– Что-сь? – откликается испуганно Алевтина Ивановна.

В последнее время характер что-то у дочки совсем испортился, плачет, на мать кричит. Прежде-то такого не случалось.

– Мам... скажи: за что нас на селе не любят?

– Завидуют, девонька, завидуют. От зависти вся злоба-то, от зависти...

– А чего нам завидовать? Живем стороной, невесело, от людей прячемся за стены.

– Не пойму что-то нынче тебя, Стешенька. Ой! Неладное у тебя на уме!

– Не понимаешь? Где уж понять! Мужа привела, извели вы мужа, ушел из дому. Мне жить хочется, как все живут. Не даете. Пробовала к мужу уйти, ты меня отравила, наговорила на Федю. «Не верь да не верь». Вот тебе и не верь. А что теперь понастроили с МТС-то рядом! Жить вы мне не даете! Сами ничего не понимаете, меня непонятливой сделали!

– Святые угодники! Да что с тобой, с чего опять лаешься? Стешенька, на мать же кричишь, опомнись!

– Опомнись! Опомнилась я, да поздно!

– Господи, от родной-то дочери на старости лет!

Вышел отец, бросил угрюмый взгляд на дочь.

– Опять взбесилась? Стешка! Проучу!

– Проучил, хватит! Твоя-то учеба жизнь мне заела!

Силантий Петрович зло махнул рукой.

– Выродок ты у нас какой-то. Всегда промеж себя дружно жили. Тут на тебе – что ни день, то визг да слезы...

– Это он все! Все он! Муженек отравил, залез к нам змеюкой, намутил, ребенка оставил и до свидания не сказал. Он все! Он!

– Жизнь заели! За-е-ели!

От криков проснулась дочь.

В жарко натопленном клубе играла гармошка. Федора шумно вызывали. Он упрямо отказывался. Наконец ребята-трактористы вытеснили его на середину круга, кто-то услужливо подхватил упавший с плеч пиджак.

Чуть вздрагивающей рукой Федор провел по волосам, стараясь не глядеть в глаза людям, напиравшим со всех сторон, прошел вяло, враскачку, быстрее, быстрее и сделал жест гармонисту: «Давай!» Гармошка рванула и посыпала переборы, один, нагоняющий другой. Зазвенели стекла, заголосили сухие половицы под каблуками, гул голосов перешел в восторженный стон, волосы Федора растрепались, лицо покраснело. «Эх! Потеснись, народ! Душа на простор вырвалась!» Хлопали в ладоши, кричали, не слыша друг друга, теснились плечами... И вдруг, ударив в пол, Федор остановился, вытянулся, уставился поверх голов, потное лицо медленно стала заливать бледность. Жалобно всхлипнув, осеклась гармошка. Голоса смешались, упали – и наступила тишина, в которой лишь было слышно напряженное дыхание людей. Невольно глаза всех повернулись в ту сторону, куда смотрел Федор.

Снаружи, за темным, мокрым окном, прижалось к стеклу смутное лицо Стеши...

1954

Расплата

Часть первая

1

В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:

– Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..

Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.

Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.